

Т. В. СМЕРНОВА

ИЗ ПРОШЛОГО СЕРГИЕВСКОЙ ЗЕМЛИ

Сергиев Посад
2011

63.3 (2 Рос-4МО) С50

С 50 Смирнова Т.В. Из прошлого Сергиевской земли – Сергиев Посад. ООО «Все для Вас - Подмосковье», 2011. – 256 с.: ил.

В книге рассказывается о земле преподобного Сергия Радонежского. Первая часть основана главным образом на подборке фрагментов произведений мемуарного характера разных авторов: И.С. Шмелева, Б.В. Шергина, М.М. Пришвина, С.М. Голицына, Е.Н. Трубецкого, А.В. Трубецкого, К.П. Истоминой (Трубецкой), А.В. Комаровского, А.В. Комаровской, Н.В. Урусовой, С.П. Раевского, Ю.В. Готье, Е.А. Самариной-Чернышевой, о. Сергия Боскина, С.А. Волкова, Н.Н. Ильина, В.Н. Арешкиной, Н.А. Маясовой и др. В ней использованы также работы некоторых искусствоведов, архитекторов и художников: А.Н. Свирина, М.А. Ильина, А.В. Бакушинского, И.Е. Бондаренко, Т.Н. Грушевской, М.В. Нестерова, С.Н. Дурьлина, И.Н. Павлова, В.К. Тетерина и других лиц. Речь идет об архитектурном облике Троице-Сергиевой лавры, о ее святых окрестностях: Покровском монастыре в Хотькове, Свято-Вифанском монастыре, Гефсиманском и Черниговском скитах, ските Параклит, Зосимовой и Гермогеновской пустынях, о таком народном промысле, как промысел игрушки, которым издавна славился этот край, о том, как отразилась красота Лавры и природы этой земли в произведениях художников (К. Юона, Вл. Соколова, Б. Кустодиева, А. Осмеркина) и писателей (С. Волкова, Б. Пастернака, Б. Шергина), о том, каким был облик Сергиева Посада в конце XIX в., в первые послереволюционные годы, годы НЭПа, и в 1930-е годы. Рассказывается о некоторых семьях тех, кто приехал в Сергиев Посад после революции и был назван «бывшими»: Хвостовых, Раевских, Шиках, Шаховских, Комаровских, Фаворских, Трубецких, Голицыных, Розановых и др. Также говорится об усадьбах, расположенных под Сергиевом Посадом: Абрамцеве, Ахтырке, Успенском.

Рассказ не ограничен строгими хронологическими рамками. Составитель не ставит задачу всестороннего охвата исторических событий, а стремится дать эмоционально-эстетическое представление об этой святой земле через ее восприятие разными людьми.

Во вторую часть включены очерки о людях, большинство из которых приехали в Сергиев посад после революции и их семьях. Многие из них: Ю.А. Олсуфьев, С.Н. Мансуров, В.А. Комаровский, В.Д. Дервиз, А.Н. Свирина, М.В. Шик, а также о. Павел Флоренский, прибывший в этот город раньше, работали в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры и в Сергиевском историко-художественном музее.

Дается также общая краткая характеристика диаспоры интеллигенции, возникшей в Сергиевом Посаде в 1920-е гг.

Книга предназначена для широкого круга читателей, в том числе школьников и студентов.

ПРЕДИСЛОВИЕ



Несколько лет назад, подойдя к Хотьковскому монастырю, я разговорилась с женщинами у входа в Покровский храм. Они рассказали об удивившей их встрече со старичком, по виду иностранцем, а иностранцы тогда были в Хотькове большой редкостью. Он спросил, как пройти в Радонеж. По-русски говорил хорошо. Ему стали объяснять, что туда ходит автобус. Но он сказал: «Нет, по святой земле преподобного Сергия я пойду пешком».

Долго этот рассказ не давал мне покоя. Слова «святая земля», «земля преподобного Сергия» запали в душу. Постепенно стали собираться высказывания тех, кто бывал на этой земле и почувствовал ее духовную силу, ее красоту, ее свет. Но оказалось, что немало и тех людей, которые писали о годах, когда святость Сергиевской земли была многими забыта, потеряна «дорога к храму». Я поняла, что и такие воспоминания важны.

Многие источники, использованные мной, стали доступны только в последние годы. Читателя может удивить обилие обширных цитат из них. Но

я не могу сказать лучше, чем писатели, ученые, авторы мемуаров и дневников. Только в двух случаях я позволила себе привести статистические данные (о «лишенцах» и о расстрелянных на Бутовском полигоне), полагая, что читателю найти их самому будет не так легко.

Взглянув на оглавление, можно подумать, что рассказ об усадьбах не имеет прямого отношения к теме книги. Но и Ахтырка князей Трубецких, и Абрамцево Аксаковых и Мамонтовых расположены на Сергиевской земле, жизнь их обитателей связана с именем Преподобного. Князь Евгений Трубецкой писал о своем брате Сергее Николаевиче, известном философе, что «самое имя “Сергий” не случайно было ему наречено при крещении». И не в Абрамцеве ли, проникнувшись образом святого, художник Михаил Нестеров писал картину «Видение отроку Варфоломею»?

Небольшая часть тем была опубликована мной в периодических изданиях. Сейчас я предоставляю читателям книгу, по моим представлениям, цельную. Ее можно упрекнуть в неполноте, но автор ведь имеет право выбирать источники, ему близкие.

НА БОГОМОЛЬЕ К ТРОИЦЕ

«К Троице бы вот сходить надо... Там уж круглый те год моление, благолепие... а чистота какая!.. И каки соборы, и цветы всякие, и ворота все в образах... а уж колокола – а звонят... поют и поют прямо!..», – говорил старый плотник Горкин, один из героев повести Ивана Шмелева «Богомолье». Поход на богомолье – это для людей раньше было большое событие. Особенно для тех, кто был занят однообразной тяжелой работой. Для них это был настоящий праздник. Вспомним слова о. Павла Флоренского: «Оторванности от обычных условий и привычек жизни свойственно свое бодрое возбуждение, – вино неожиданной свободы... Нередко достаточно снять грузы привычного и мелочно-повседневного, чтобы тут же вышли наружу задавленные ими и вещее знание, и чувство коренной связи с миром, и близкая к экстатической радость бытия».

Это сказано о празднике светском. Еще более справедливы слова Флоренского по отношению к богомолью в монастыре. Оно не только насыщало жизнь радостью, но и очищало душу, вселяло надежду на исцеление от болезни, на помощь в житейских делах. Сама дорога к обители, расположенной на каком-то расстоянии от дома, воспринималась как путешествие, богатое встречами, полное новых впечатлений, а то и опасностей, будь это плавание по морю на Соловки или пеший поход к Троице.

Вот отправилась в летнюю пору небольшая группа людей из Москвы в Троице-Сергиеву лавру. Путешествие это описано Шмелевым от лица шестилетнего мальчика, каким он был в конце 1870-х годов, когда довелось ему впервые побывать в Сергиевом Посаде. На исходе шестого десятка лет в далеком Париже писатель воскресил в памяти незабываемые картины этого путешествия: «Мы на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не

простая дорога, а святая: называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: “Довел бы Господь к Угоднику”, “Пошли вам Господи!” – будто мы все родные. И даже трактир называется – “Отрада”. Брехунов (хозяин трактира – Т.С.) носит меня над головами, над столами, в пареном, дымном воздухе, показывает мне канареечек и как хорошо расписано. Я вижу лебедей на воде, а на бережку господа пьют чай и стоят, как белые столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят. Я спрашиваю – это святые медведи, от Преподобного? Он говорит – обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно загрызут. Только Преподобного не трогали. И показывает мне самое главное – “мытищинскую воду”. Это большая зеленая гора в елках; и наверху тоже сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из них хлещет синими дугами “мытищинская вода” в большие самовары, даже с пеной».

Для городских жителей поход на богомолье это еще и встреча с природой:

«Погода разгулялась, синее небо видно. Воздух после дождя благоуханный, свежий. От мокрого можжевельника пахнет душистым ладаном... Веселые луговинки полны цветов – самая-то пора расцвета, июнь месяц. В мокрой траве, на солнце, золотятся крупные бубенцы, никлые от дождя, пушистые, потрясешь над ухом – брызгают-звенят. Стоят по лесным лужайкам, как тонкие восковые свечки, ночнушки-любки, будто дымком курятся, – ладанный аромат от них. И ромашки, и колокольчики...».

Монастырь обычно был виден путнику издалека, и какую же ни с чем несравнимую радость испытывали богомольцы, когда впервые показывались далекие еще монастырские строения: «Блеск, голубое небо – и в этом блеске, в голубизне, высокая розовая колокольня с сияющей золотой верхушкой! Верхушка дрожит от блеска, словно там льется золото. Дальше – боры темнеют. Ровный, сонный как будто звон... Я крещусь на розовую

колокольню, на блистающую верхушку с крестиком, маленьким, как на мне, на вспыхивающие пониже искры. Я вижу синие куполки, розовые стены, зеленые колпачки башенок, домики, сады...». (И. Шмелев).

Воздействует на богомольцев и вся обстановка монастыря: его храмы, колокольный звон, благолепие территории и многое другое. О. Павел Флоренский писал, насколько важны все составляющие храмового действия: освещение в храме, дымок и запах ладана, движения священнослужителей, даже вкус просфор. Большая часть им сказанного может быть отнесена к любой православной церкви, не только монастырской. Но храмовое действие только часть того, что испытывает человек, пришедший в монастырь на богомолье. Несомненно, весь облик Лавры оказывает сильнейшее эстетическое воздействие на паломников. Шмелев вспоминал: «Еще прохладно, пахнет из садиков цветами. От колокольни-Троицы сильный свет – видится все мне в розовом: кресты, подрагивающие блеском, главки, стены, блистающие стекла. И воздух кажется розовым, и призывающий звон, и небо. Или – это теперь мне видится... розовый свет от Лавры?.. розовый свет далекого?.. Розовая на мне рубашка, розоватый пиджак отца... просфора на железной вывеске, розовато-пшеничная – на розовом длинном доме, на просфорной; чистые длинные столы, вытертые до блеска белыми рукавами служек, груды пышных просфор на них, золотистых и розовато-бледных... белые узелки, в белых платочках девушки... вереницы гусиных перьев, которыми пишут на исподцах за упокой и за здравие, шорох и шелест их, теплый и пряный воздух, веющий от душистых квашней в просфорной... все и доньше вижу, слышу и чувствую. Розовые сучки на лавках и на столах, светлых, как просфора; теплые доски пола, чистые, как холсты, с пятнами утреннего солнца, с отсветом колокольни-Троицы, с бледными крестовинами окошек; свежие лица девушек, тихих и ласковых, в ссунутых на глаза платочках, вымытые до лоска к празднику; чистые руки их, несущие бережно просvirки... добрые, робкие старушки в лаптях, в дерюжке, бредущие ко святыням за сотни вест, чующие святое сердцем... – все и доньше вижу».

В Лавру шли поклониться великому русскому святому преподобному Сергию Радонежскому, чье имя близко и дорого каждому русскому человеку. В Святых воротах Лавры богомольцы видели картины из жизни Преподобного, в Троицком соборе прикладывались к его мощам. Но для паломников новым и интересным был и сам город – Сергиев Посад. Вот каким увидел его Шмелев: «Улицы в мягкой травке, у крылечек “просвирки” и лопухи, по заборам высокая крапива, – как в деревне. Дощатые переходы заросли по щелям шелковкой, такой густой и свежей, будто и никто не ходит. Домики все веселые, как дачки, – зеленые, голубые; в окошках цветут гераньки и фуксии и стоят зеленые четверти с настоем из прошлогодних ягод; занавески везде кисейные, висят клетки с чижами и канарейками, – и всё скворешники на березах. А то старая развалюшка попадетса, окна доской защиты. А то – каменный, облупленный весь, трава на крыше. Сады глухие, с гвоздями на заборах, чтоб не лазили яблоки воровать; видно зеленые яблочки и вишни. Высоко змей стоит, поблескивает на солнце, слышно – трещит трещеткой. И отовсюду видно розоватую колокольню-Троицу: то за садом покажется, то из-за крыши смотрит – гуляет с нами. Взглянешь – и сразу весело, будто сегодня праздник. Самая-то кипень у Лавры, а тут затишье, посад, жизнь тут правильная, житейская, торопиться некуда, не Москва».

После нескольких дней пути, постившиеся всю дорогу паломники, разговлялись. Шмелев вспоминает, как побывали они в блинных, что в низинке, рядом с Лаврой:

«Сходим по лесенке в овражек, заходим в “блинные”. Смотрим по всем палаткам: везде-то едят, едят, чад облаками ходит. Стряпухи зазывают:

- Блинков-то, милые!.. Троицкие – заварные, на постном масле!..
- Щец не покушаете ли, с головизной, с сомовинкой?..
- Снеточков жареных, господа хорошие, с лучком пожарю...за три копейки сковородка! Пирожков с кашей, с грибками. Прикажите?..

– А карасиков-то не покушаете? Соляночка грибная, и с севрюжкой, и с белужкой... белужины с хреном, горячей?.. И сидеть мягко, понежитесь после трудов-то, поманежитесь, милые... и квасок самый монастырский!..

Едим блинки со сметочками, и с лучком, и кашнички заварные, совсем сквозные, видно, как каша пузырится. Пробуем и карасиков, и грибки и – Антипушка упросил уважить – редечку с конопляным маслом, на заедку...».

Время от времени возникает вопрос: допустимо ли в монастырях заниматься торговлей. Читая Шмелева, мы видим, какую дополнительную радость давала покупка в монастыре памятных предметов: «В Святых воротах, с Угодниками, заходим в монастырскую лавку, купить из святостей. Блестят по стенам иконки, в фольге и ризах. Под стелами на прилавке насыпаны серебряные и золотые крестики и образочки – больно смотреть от блеска. Висят четки и пояски с молитвой, большие кипарисовые кресты и складни, и пахнет приятно-кисло священным кипарисом. Стоят в грудках посошки из можжевельки, с выжженными по ним полосками и мазками. Я вижу священные картинки: “Видение птиц”, ”Труды Преподобного Сергия”, “Страшный суд”. Все покупают крестики, образочки и пояски с молитвой – положим для освящения на мощи. Отец покупает мне образ Святые Троицы, в серебряной ризе.

Покупаем еще колечки с молитвой, серебряные, с синей и голубой прокладочкой, по которой светятся буквы молитвы – “Преподобный Отче Сергие, моли Бога о нас”. Покупаем костяные и кипарисовые крестики с панорамкой Лавры и “жития”.

Красивый чернобровый монах, с румяными щеками, выкладывает пухлыми белыми руками редкости на стекло: крестики из коралла, ложки точеные, из кипариса, с благословляющей ручкой, с написанной на горбушке Лаврой; поминанья кожаные и бархатные с крестиками из золотца на вскрышке, бархатные мешочки для просвилок, ларчики из березы, крестовые цепочки, салфеточные кольца с молитвою, вышитые подушечки – сердечком, молитвеннички, браслетки с крестиками. Нагрудные образки в бархате...

всякие редкостные штучки. Говорит мягко-мягко, молитвенным голоском, напевно:

– На память о Лавре Сергия Преподобного... приобретите для обиходца вашего, что позрится, мальчику ложечку с вилочкой возьмите, благословение святой обители, для телесного укрепления... всячий кармашек для платочка...

– Маслица благовонного возьмите, освященного, в сосудцах с образом Преподобного, от немощей... – выкладывает монах зеленые пузырьчики с маслом.

Пахнет священо кипарисом, и красками, и новенькими книжками в тонких цветных обложках; и можжевелькой пахнет – дремучим бором – от груды высыпанных точеных рюмочек, кубариков и грибков, от крошечных ведерок, от бирюлек...

– Ерусалимского ладанцу возьмите, покурите в горнице для ароматов...

Монах укладывает все в корзину, на которой выплетены кресты. Все потом заберем, на выходе».

Вот и последний денек у Троицы:

« – Ну, Господи, благослови, пошли.

Мы крестимся. Все желают нам доброго пути. Из-за двора смотрит на нас розовая колокольня-Троица. Молча выходим за ворота.

– Крестись на Троицу, – говорит мне Горкин, – когда-то еще увидим!..

Видно всю Лавру-Троицу: светит на нас крестами. Мы крестимся на синие купола, на поднимающийся из чаши крест:

Пресвятая Троица, помилуй нас!

Преподобный отче Сергие, моли Бога о нас!..

Вот и тихие улочки Посада, и колокольня смотрит из садов. Вот и ее не видно. Выезжаем на белую дорогу. Навстречу – богомольцы, идут на радость. А мы отрадовались – и скучно нам. Оглядываемся, не видно ли. Нет, не видно. А вот и перелески с лужайками, и тропки. Мягко постукивает тележка, попыливает за ней. А вот и место, откуда видно – между лесочками,

позади, в самом конце дороги: стоит колокольня-Троица, золотая верхушка только, будто в лесу игрушка.

Прощай!...»

Имя Ивана Сергеевича Шмелева (1873–1950) до недавнего времени было у нас мало известно – немногих писателей-эмигрантов разрешалось издавать в нашей стране. Еще до революции он имел солидную репутацию, вышло в свет собрание его сочинений в восьми томах. Но только в эмиграции полностью раскрылся его талант, и он стал писателем с мировой славой. Ее принесла книга «Солнце мертвых». Самая страшная из всех книг, написанных на русском языке, как сказал писатель А.В. Амфитеатров. В ней вылилось все накопившееся страдание, вся горечь человека, который потерял все, что любил – свою родину, свой народ. Только об огромном, неизбывном личном горе – гибели единственного, горячо любимого сына – он не сказал в книге, не смог сказать. Может быть, в этом сказалась особенная деликатность писателя. А, может быть, горе было столь велико, что не выдержало бы сердце, напиши он об этом на бумаге. Большевики обещали сохранить жизнь офицерам Добровольческой армии, сдавшимся в плен. Но обещание нарушили. Сергея Шмелева взяли прямо из госпиталя и расстреляли. Из Крыма, где писатель прожил последние годы на родине, в 1922 году он с женой уехал во Францию. На чужбине проходили годы. Становилось очевидным, что вернуться на родину не придется. Но былая Россия вставала в воспоминаниях о детстве. И родились книги: «Богомолье», написанное от лица шестилетнего мальчика, «Лето Господне» и другие. Влюбленный в Россию писатель смог передать ее душу. Он писал так, что буквально видишь прошлое, как череду ярких картин. Не только зримое, но и слышимое, осязаемое, и, если так можно сказать, вкусовое ощущение остается от его книг.

В 1950-м году Шмелев после тяжелой операции приехал в православный монастырь в местечке Бюсси-ан-От. Через четыре часа он скончался.

Грустно думать, что так и не увидел писатель родину. Что была разрушена та жизнь, о которой он писал. «Новые творцы жизни, куда вы?! – обращался он к новым властям. – С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гробы святых. ... Эх, Россия! Соблазнили тебя какими чарами? Спойли каким вином?»

Грустно, что потеряли мы навыки искусного труда, передававшиеся от поколения к поколению. А именно о настоящих русских мастерах рассказывает в своих книгах Шмелев.

Грустно, что даже язык свой мы в значительной степени утратили. Таким языком у нас никто уже не пишет, не говорит. Как верно заметил А.И. Куприн: «Шмелев теперь – последний и единственный из русских писателей, у которого еще можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка».

Радостно лишь то, этот писатель, национальный писатель с мировым именем, вернулся в Россию своими книгами, и мы можем увидеть Сергиев Посад, Лавру такими, какими были они более ста лет назад.

АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ЛАВРЫ

«Первое впечатление, каким Лавра встречает вас издалека – это сквозящая в небе стройность ее сорокасаженной колокольни и мощный благовест ее тысячепудовых колоколов, – так начал свою статью в сборнике-путеводителе «Троице-Сергиевская Лавра» 1919 года М.В. Шик (1887–1937). – Когда вы приблизитесь к воротам монастыря и увидите, как бело-розовая колокольня слишком стремительно и пышно вырастает над насупившеюся семьею бело-сизых и золотых куполов Успенского собора, строго внушающих ей превосходство своего двухвекового старшинства, вы, может быть, подосадуете, что не видите на ее месте простых контуров Ивана Великого. Но если вам посчастливится быть у Троицы не мимолетным гостем, и вы успеете вжиться в ее своеобразную красоту, если удастся любоваться колокольной откуда-нибудь из открытого поля, с лесной опушки, среди воздушного простора, на котором она просвечивает своими широкими пролетами и кажется построенной больше из воздуха, чем из камня, тогда вы почувствуете, как дружно слилась лаврская колокольня с Троицким пейзажем, и вполне примиритесь с тем, что благовест лаврских богослужений расходится по окрестности с этого величественного, хотя такого, казалось бы, и нерусского создания архитектуры второй половины XVIII столетия».

Цитируя известного толкователя богослужебного устава, Шик писал: «“Колокольный благовест не только оповещает о времени службы, но и подготавливает христиан к ней: общепризнано то благодатное действие, которое он оказывает на душу. Для отсутствующих же на богослужении он некоторым образом и заменяет последнее”... Отсюда понятны внимание и любовь, какими с древности и до сих пор окружены колокола и предназначенные для них здания – колокольни, понятно и стремление сделать колокольню высокою, чтобы благовест дальше слышался и величественнее было здание, для такой цели предназначенное.

Но лаврская колокольня производит величественное впечатление не одной своею своей высотой (41 сажень). Напротив, пропорции колонн, ваз и всей вообще орнаментировки, которою колокольня обработана снаружи, по видимому, умышленно скрадывают от глаза ее вышину; этим она выигрывает в легкости и крепче связывается с массивом окружающих построек. У лаврской колокольни мало соперниц в России по стройности и архитектурной цельности, хотя и строилась она с перерывами, тремя разными зодчими, при трех царствованиях, в течение почти трех десятилетий».

Строительство колокольни шло с 1740 по 1770 год: началось при Анне Иоанновне и закончилось при Екатерине II, но стиль барокко, в котором построена колокольня, целиком относится к эпохе Елизаветы Петровны – эпохе показного богатства и расточительства. Его виднейшим представителем был архитектор Растрелли. По его проектам построены Зимний дворец и Смольный монастырь в Петербурге, Екатерининский дворец в Царском селе. Однако колокольню в Лавре строили русские архитекторы. По первоначальному проекту петербургского архитектора И. Шумахера она должна была быть трехъярусной. Начал строительство архитектор И.Ф. Мичурин, продолжил князь Д.В. Ухтомский, а достраивали его помощники. Монастырские власти были недовольны первоначальным проектом: им хотелось, чтобы колокольня была самой высокой в России. Ухтомский также понимал, что трехъярусная колокольня не станет высотной доминантой монастыря, и при посещении Лавры императрицей Елизаветой представил на утверждение проект надстройки колокольни на два яруса. Этот проект и был осуществлен. В итоге колокольня высотой 88 метров оказалась даже выше Ивана Великого – колокольни Московского Кремля.

Для лаврской колокольни были отлиты несколько новых колоколов, в том числе Царь-колокол, самый большой в России. Часть колоколов была перенесена со старой разобранный колокольни, среди которых были

колокола, пожертвованные царем Борисом Годуновым: «Лебедь» и «Годунов».

Шик закончил статью о колокольне такими словами: «Жаль, когда исчезают плоды творчества прошедших поколений, жаль в особенности, когда исчезают такие создания, нематериализовавшиеся в вещественную оболочку, как пение или звон колокольный. Разрушенные здания оставят следы в фундаментах, которые через тысячелетия будут открыты и изучены археологами, как в Микенах или Вавилоне; исчезнувшие книги подадут о себе весть в цитатах – скольких мыслителей мы знаем только по выпискам из них, сохраненным другими авторами. Но звук колокольный, прогудев, растает в воздухе, и эхо не повторит его через века».

Опасения автора этих слов не были беспочвенными. Большинство колоколов в 1930 году были сброшены с колокольни и отправлены на переплавку. Это событие описал в своих дневниках Михаил Пришвин. Да, тогда казалось, что никогда уже не будут делать колоколов. Но вот прошли годы, и снова водружены на колокольню колокола, подобные прежним: «Первенец», «Благовестник» и «Царь-колокол». И снова далеко разносится звон с лаврской колокольни.

Рассказ о колокольне хочется закончить словами из очерка архитектора И.Е. Бондаренко (1870–1947), написанного им в 1919 году: «В красочном венке ярких лаврских зданий венчающим прекрасным цветком красуется колокольня, и откуда бы мы ни смотрели на лавру – отовсюду видно это создание, словно из фарфорового бисквита отлитое, нежное, до впечатления хрупкости, с трепетной филигранностью форм. На протяжении всего XVIII века не было другой равной колокольни».

А вот как описывал вид Лавры в 1925 году автор путеводителя по Сергиевскому историко-художественному музею А.Н. Свирин (1886–1976): «Окаймленные высокою, суровою стеною с башнями-бойницами, возвышаются среди редкой зелени, все здания бывшей лавры, возглавляемые единственной по красоте, стройной, прозрачной колокольней. Лучший вид на

бывшую лавру – со стороны юго-восточной, по дороге с вокзала, с пригорка перед спуском на базарную площадь, когда, за церквями упраздненного в 1660 году Пятницкого “на подоле” женского монастыря, встает стройная, ритмическая, уравновешенная, словно высеченная из одного куска-гиганта, многокрасочная громада с белыми стенами, красными башнями, пестрой узорчатой трапезною, белым верхом пятиглавого Успенского собора и изящной колокольной... Более сжатый вид открывается с восточной стороны (надо смотреть с Нижней улицы), – здесь массы надвратной церкви Иоанна Предтечи, Успенского собора и колокольни, сливаясь в одно целое, создают причудливую архитектурную композицию, легко вписываемую в треугольник. С западной стороны картина совершенно меняется, если смотреть из Пафнютьевского сада: здесь мощная, высокая белая стена, укрепленная контрфорсами, превращенная в жилые помещения, с живописно разбросанными разных размеров и на разной высоте окнами, напоминает постройки где-нибудь в северной Италии, расположенные на склонах гор.

Выступающая суровая квадратная башня, с висящим на громадной высоте балконом, дополняет общее впечатление, как от постройки западно-европейской, и только возвышающаяся колокольня и золотые главы соборов напоминают, что все это – близ Москвы. Построением колокольни был закончен архитектурный вид лавры, могущий поспорить с зодческой совокупностью московского Кремля».

Присмотримся же к храмам Лавры. Главы Успенского собора видны издалека. Но мы лучше увидим его, войдя в Лавру. «Из-за высоких старых лип глядят стены Успенского собора... – писал Бондаренко. – Внушительные алтарные абсиды собора дают тон окружающему пейзажу Лавры. ... Белизна этих стен приятна и в жгучий солнечный полдень, и мистически красива в сиянии лунных ночей Много красивого заключено в этих древних стенах. Обильная позолота Елизаветинского многоярусного иконостаса не раздражает глаза. Стены и своды собора покрыты росписью, насыщенной сюжетами, красивой, хотя и возобновленной, а внизу под росписью кругом

по стенам идет красивая лента словно бисером нанизанных букв вязью, рассказывающей о художниках этих фресок... В боковых приделах фрески остались неискаженными поновлениями и потому более говорящими глазу о мастерстве незатейливых и искренних художников ярославских “Д. Григорьева с товарищи”, так успешно и быстро (май–август 1684 г.) изукрасивших собор фресками».

Успенский собор был построен в XVI веке. Во имя Успения возводились главные храмы во многих русских городах. Связано это с тем, что на Руси считали Богоматерь своей покровительницей, а Успение – главный из праздников, посвященных Ей – день Ее кончины. В тот день собрались к Ее гробу все двенадцать апостолов – учеников Христа, и сам Он спустился на землю, чтобы вознести Ее душу на небо. Успенью был посвящен главный храм Владимира – древней столицы Руси. И Успенский собор в Московском Кремле итальянскому архитектору Аристотелю Фиораванти было приказано строить по образцу того владимирского собора. А Успенский собор в Троице-Сергиевом монастыре в свою очередь построили по образцу собора в Кремле. Поэтому он имеет несколько архаичный вид, то есть, кажется более древним, чем на самом деле: спокойные полукружия закомар, аркатурно-колончатый пояс Успенского собора – от XII века. Собор – выстроен строго и точно, как по линейке. Он торжественен и холоден. Это эпоха Ивана Грозного с его идеями сильной государственной власти и жестокого отношения к людям. Дух эпохи, в которую создан храм, лучше всего можно ощутить, если посмотреть на его северную сторону, представив к тому же, что купола раньше были крыты лемехом, то есть, осиновыми дощечками. Сейчас сияющий золотом большой центральный купол, четыре голубых главы с золотыми звездами, пышная, в гирляндах цветов и фруктов надкладезная часовня, частично загораживающая собор с западной стороны, придают ему нарядный и даже веселый вид. «Редкая по наивно-красочной массе эта маленькая часовенка второй половины XVII века, – писал Бондаренко, – так красноречиво говорит

о той счастливой поре наших художников-строителей, когда они, после чистой архитектурной строгости форм XVI века, вкусили богатую вычурность века XVII и захвачены были той особой живописной нарядностью, какая проявилась в детализовке построек барокко, эпохи, оставившей России ряд прекрасных архитектурных творений... И так удачно приютился этот остаток барокко между двух древних созданий эпохи Грозного – Успенским собором и церковью Сошествия Святого Духа».

Если самый большой собор Лавры – Успенский собор, то самый древний – Троицкий. Он был выстроен в 1422–1423 годах – первый каменный храм монастыря. «Представим себе убогого обитателя деревенской Руси XV–XVI столетий, пришедшего из своих лесов и лачуг в Троицкий монастырь: всё для него показалось бы там необыкновенным, дивным, каким-то иным миром, полным чудес и красоты, никогда невиданной и невоображаемой. Троицкий собор из тесаного белого камня в то время, среди почти исключительно деревянных построек Московской Руси, был редкостью и прекрасным архитектурным образчиком; расписан он был внутри, по довольно достоверному сказанию, величайшим мастером, преподобным Андреем Рублевым совместно с Даниилом Черным; в иконостасе находится икона Святой Троицы кисти того же Рублева, совершенно исключительная и единственная, вершина художественного богомыслия». Так писал в 1919 году один из членов Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, П.Н. Каптерев (1889–1955).

Троицкий собор был выстроен из белого камня – мячковского известняка. Его летом заготавливали в каменоломнях, находившихся к югу от Москвы, близ села Мячково, на берегу реки Пахры, а зимой глыбами везли по санному пути. Уже на месте тесали из глыб блоки, наносили резьбу – мягкий белый известняк легко поддается обработке. Несмотря на небольшие размеры, Троицкий собор производит величественное впечатление. Его форма близка к кубической, стены украшены резным поясом, проходящим по

середине стен и поднимающимся вверх только на абсидах. По сравнению с более древними белокаменными храмами Владимиро-Суздальской Руси Троицкий собор имеет особую форму закомар, по которым сделана кровля – килевидную. Такую же форму имеют и завершения порталов. Это характерные черты зодчества, которое называют раннемосковским. В названии «килевидные» – намек на схожесть их с очертаниями киля лодки, перевернутой вверх килем. Однако, видимо, более правильно было бы видеть в этой форме иное: их заострение – стремление к небесам, как считал князь Евгений Трубецкой (1863–1920). Это молитвенное горение. Это пламя свечи, более всего выраженное в заостренной луковичной форме глав древних русских храмов.

Кто были строители Троицкого собора, неясно. Известно, что князь Юрий Звенигородский пригласил мастеров отовсюду. Храм этот антропоморфен, то есть, похож на человека. В то время считали, что храм должен быть подобен Богу, а Бог создал человека по своему образу и подобию. Нетрудно увидеть в облике храма стилизованный образ человека, причем человека сильного – богатыря: мощное туловище перепоясано посередине, над ним возвышается почти цилиндрический барабан (раньше говорили – шея), заканчивается храм главой со шлемовидным покрытием. Стоит еще напомнить, что очи и окна – слова одного корня.

Не в обилии украшений, не в пестрой раскраске и позолоте видели в те времена красоту. Зодчие ощущали благородство пропорций, цельность облика (“стоит, яко камень”).

Как выглядел монастырь после постройки Троицкого собора? Четырехугольник потемневших от дождя бревенчатых келий, деревянная ограда, кое-где шумят деревья – и белоснежный, мощный, цельный, геометрически правильный храм, храм-богатырь. Сама его правильность, строгость и белизна напоминали верующим о заветах преподобного Сергия. Древняя стенная роспись собора не сохранилась, но иконостас дошел до нашего времени без больших изменений. Только в нижнем (местном) ряду

иконы заменены более поздними, а знаменитая «Троица» Андрея Рублева передана в Третьяковскую галерею. На ее месте находится точная копия. Нечасто удается установить автора иконы. Иконописец не ставил на ней своего имени. Но в летописи есть указание, что этот образ Троицы создал Андрей Рублев.

Икона написана на библейский сюжет. К человеку по имени Авраам явились три путника. Это были ангелы, олицетворявшие три ипостаси Бога: Бога-отца, Бога-сына и Бога-Святого духа. Обычно на иконах с этим сюжетом изображали Авраама, его жену Сару, слугу, который режет тельца, стол, заставленный угощениями. Андрей Рублев отказался от этих подробностей. Только три ангела сидят за столом, а на столе единственная чаша. Лица ангелов задумчивы. Головы их немного склонены. Они так едины, что слов им просто не надо. Тишиной, спокойствием веет от этого изображения. Светлые краски: знаменитый «голубец» Рублева, золото, розовый – создают ощущение светлой радости и чистоты.

«Торжество той религиозной мысли, которая одинаково одушевляла и русских подвижников, и русских иконописцев того времени, обнаруживается в особенности в одном ярком примере, – писал князь Евгений Трубецкой, – Это – престольная икона Троицкого собора Троице-Сергиевской лавры – образ Живоначальной Троицы, написанной около 1408 года знаменитым Андреем Рублевым “на похвалу” преподобному Сергию... В иконе выражена основная мысль всего иноческого служения преподобного... Это та самая мысль, которая руководила св. Сергием, когда он поставил Собор Святой Троицы в лесной пустыне, где были волки. Он молился, чтобы этот зверообразный, разделенный ненавистью мир преисполнился той любовью, которая царствует в предвечном совете Живоначальной Троицы. А Андрей Рублев явил в красках эту молитву, выразившую и печаль, и надежду святого о России. Победой прозвучала эта молитва; она вдохнула мужество в народ, для которого родная земля стала святыней. И все, что мы знаем о творчестве Андрея Рублева, показывает, что он воодушевлен этой победой».

Иконостас Троицкого собора шестиярусный. Не все иконы легко рассмотреть, особенно в верхних рядах. Наши предки тоже не все могли рассмотреть, но не стоит сетовать на это. Весь строгий облик собора, уходящий ввысь иконостас, непривычное освещение – через узкие окна в барабане – все здесь настраивает на молитву, вызывает потребность заглянуть в собственную душу, размыслить о своих грехах.

Другой храм XV века – Духовская церковь (церковь во имя сошествия Святого духа на апостолов). Построена она примерно на полвека позже Троицкого собора, на том месте, куда была перед началом его строительства перенесена деревянная Троицкая церковь. Известно, что строили ее псковские мастера. В 70-е годы XV века великий князь Московский Иван III затеял каменное строительство в Кремле. Но при постройке большого Успенского собора рухнули своды. Возможно, что за время татаро-монгольского ига московские зодчие разучились возводить большие сооружения. И князь приказал вызвать строителей из Италии и из Пскова – Псковская земля не пострадала от татаро-монгол, и строительство там не прекращалось.

Первыми прибыли итальянцы, и Успенский собор Московского Кремля выстроил Аристотель Фиораванти. А запоздавших псковичей пригласили в Троице-Сергиев монастырь и дали не совсем обычное задание: построить церковь «иже под колоколы», то есть, церковь-колокольню. Вот она и стоит в нескольких метрах к востоку от Троицкого собора. Кажется, что она выше, чем Троицкий собор, но на самом деле церкви одинаковы по высоте. Стройная и лиричная, высоко перепоясанная, как в старину подпоясывались женщины – под грудь, она похожа на девушку рядом с мужественным Троицким собором. Сложена эта церковь не из белого камня, а из большемерного кирпича и побелена. И пояс у нее не резной, а терракотовый, то есть, из обожженной глины. Обращает на себя внимание глава церкви – голубая с золотым обручем и этот вид она приобрела только в конце XVIII века. Из-за отсутствия сведений о первоначальной форме реставраторы не

тронули ее. И стоит эта церковь, как девица-краса в нарядном головном уборе.

Другие же каменные сооружения XV века – поварня и трапезная – не дошли до наших дней.

Смутное время прервало строительство в монастыре. Но уже в 1635–1638 годах были построены Больничные палаты с церковью во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких. Каменные двухэтажные палаты предназначались для старых, немощных монахов, для них же и церковь. Она совсем не похожа на другие храмы монастыря. Это церковь шатрового типа. Первая такая церковь была выстроена в 1532 году в селе Коломенском, загородной резиденции московских князей. А в середине XVII века патриарх Никон запретил возведение шатровых церквей, считая, что древней традиции эта форма не соответствует. А она полюбилась русским людям. И после запрета стали строить шатровые колокольни, украшать шатрами ворота, крыльца. А на севере возводили деревянные шатровые церкви – на них не было запрета. Но каменных шатровых церквей успели возвести немногим более десятка. Ведь на период от строительства первой каменной шатровой церкви до запрета Никона прошло чуть более ста лет, и на это время приходится годы голода, войны с поляками и восстановительных работ после Смутного времени. Глядя на церковь Зосимы и Савватия, мы буквально физически ощущаем, как упруго, от одного объема к другому, нарастает движение вверх, к небу, к Богу. Если Успенский собор – это сила, как бы вобранная внутрь, ждущая своего часа, то шатровая церковь олицетворяет силу, пришедшую в движение. Как птица, поднявшая крылья, рвется она в небо. Украшенная гирляндами, поясками, кокошниками и изразцами – то квадратными, то круглыми, напоминающими драгоценные зеленые камни, – вся церковь – ликующая песнь победы. Ведь поставлена она в честь окончания героической обороны монастыря от поляков 1608–1610 годов. При взгляде на эту церковь вспоминаются слова художника и искусствоведа И.Э. Грабаря: «Чутье пропорций, понимание силуэта,

декоративный инстинкт, изобретательность форм – словом все архитектурные добродетели – встречаются на протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на мысль о совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа».

Говорят, что архитектура – зеркало эпохи. Действительно, по облику архитектурного сооружения, особенно общественного, каким является церковь, можно определить время постройки, понять, какие были в то время у людей стремления, идеалы, каков был стиль жизни. Представим себе, что в Троице-Сергиеву лавру пришел человек, который совершенно ничего не знает о русской истории. Мы показываем ему постройки в хронологическом порядке. И вот доходим до конца XVII века – до Трапезной с церковью преподобного Сергия. Настолько непохожа эта постройка на все, что человек видел раньше, что он, наверное, спросит: «Что случилось в XVII веке?». Даже 300-летнее татаро-монгольское иго не повлияло так на душу народа, а, следовательно, на облик церквей, как события XVII века. Видимо, тяжкие испытания, выпавшие на долю народа, усилили у многих стремление к богатой жизни, к украшательству. Забыты заветы Сергия, видевшего радость в добровольной бедности и постоянном труде. Белоснежны древние церкви. Белый цвет – цвет чистоты. Пестро раскрашены постройки конца XVII века. Может быть, люди хотели вознаградить себя за те лишения, что перенесли в прошлом?

Стиль конца XVII века называют московским или нарышкинским барокко. Нарышкины – богатые бояре, родственники Петра I, на деньги которых было построено много церквей в то время. А слово «барокко» происходит от португальского слова, обозначающего раковину. Не обязательно в строениях этого стиля должны быть декоративные раковины, но обычно здания стиля барокко имеют криволинейные декоративные детали. Искусствоведы в новом архитектурном стиле видят западное влияние: белорусское, украинское, итальянское, немецкое.

В стиле нарышкинского барокко выстроены в монастыре Трапезная с церковью преподобного Сергия, царские Чертоги, надвратная церковь Иоанна Предтечи и Надкладезная часовня. Трапезную, и царские Чертоги строил один и тот же архитектор Осип Старцев. Он расписал стены, как тогда говорили, «в шахмат» красной, желтой, зеленой, синей, белой краской, так что они как бы покрыты ковром. В то время на Руси впервые стали использовать оконное стекло. По сторонам больших окон архитектор расположил витые колонки, оплетенные виноградными лозами. Над окнами поместил криволинейные фронтоны, а наверху, под карнизом, – ряд больших скульптурных раковин. Такие раковины мы видим в убранстве Архангельского собора Московского Кремля, построенного итальянцем Алевизом Новым в начале XVI века. Прямоугольная в плане, с двускатной крышей Трапезная производит впечатление необыкновенно богатого и пышного строения. С ее террасы открывается великолепный вид на другие здания Лавры. Сходны с Трапезной и царские Чертоги. Дополнительным украшением их стен стали многоцветные изразцы.

Стоит присмотреться к церкви преподобного Сергия, соединенной с Трапезной. Над основным объемом, крытым четырехскатной крышей, возвышается короткий и тонкий барабан с главкой. Никакого сходства с фигурой человека, как это было в храмах XV–XVI веков, нет. Нет и стремления ввысь, как у шатровой церкви. В это время изменилось представление о храме: храм – дом Божий, монастырь – сад Божий. И храм украшают именно как дом. А виноградные лозы должны вызывать мысль о райском саде – виноградная лоза символизирует «древо райское».

Надвратная церковь Иоанна Предтечи во многом похожа на Трапезную, даже пояс крупных раковин по верху стен такой же. Окна церкви восьмигранные, венчают ее пять мелких граненых главок. Благодаря яркой окраске и сияющей позолоте глав церковь хорошо видна издали.

Митрополичьи покои, расположенные рядом с Трапезной, трудно отнести к какому-либо определенному стилю. Связано это с тем, что здание,

выстроенное, видимо, в XVI веке, неоднократно перестраивалось и получило нынешний облик в XVIII веке, благодаря чему имеет некоторое сходство с архитектурой колокольни. В том же стиле барокко выстроена была в XVIII веке маленькая Смоленская церковь, похожая больше на увеселительный павильон, какие любили в то время ставить в парках.

Весь этот городок разнообразных по времени зданий охвачен могучим каменным кольцом стен с башнями. Это не те стены, что выдержали осаду в 1608–1610 годах: в середине XVII века их высота была увеличена вдвое. А башни – их в настоящее время сохранилось 11 – все разные. При подходе к Лавре с вокзала первой бросается в глаза угловая Пятницкая башня. Эта восьмигранная башня выстроена в 1640 году на месте разрушенной взрывом во время осады и производит впечатление исключительной мощи. Если пойти от нее вдоль стены вправо, мы подойдем к Красной башне. В середине XIX века эта башня была неудачно перестроена, и ее внешний вид не столь интересен. В ней находятся Святые ворота, через которые мы попадаем в проход под церковь Иоанна Предтечи. На его стенах изображены сцены из жизни преподобного Сергия Радонежского.

Если же, не входя внутрь монастыря, пройти дальше к северу вдоль стены, мы увидим прямоугольную, как и все неугловые башни, Сушильную башню. Ее облик восстановлен при реставрации таким, какой он был в середине XVII века. Далее внимание остановит Уточья башня, одна из самых необычных по форме своего завершения. Архитектор и реставратор В.И. Балдин полагал, что верх башни повторяет верх ратуши в голландском городе Маастрихте XVII века. Исключительно нарядная Уточья башня завершается шпилем с фигуркой белокаменной утки, так как, по преданию, приезжая в монастырь, Петр I стрелял с этой башни уток на Белом пруду.

Далее мы пройдем мимо Звонковой башни, близкой по архитектуре к Сушильной, и остановимся перед башней Каличьей. Она поздней постройки – возвели ее в конце XVIII века, когда монастырь уже не имел оборонительного назначения. Башня очень стройная, по своим

архитектурным особенностям слегка напоминает колокольню, а ее шатер покрыт зеленой поливной черепицей. Очень выразительные угловые Плотничья и Водяная башни, сооруженные в середине XVII века. Они похожи друг на друга, и обе сохранили сферические кровли с фонариками, сделанные в начале XIX века. Келарская и Пивная башни на западной стене и Луковая на южной также возведены в середине XVII века и перестраивались позднее.

Когда в 1938 году началась реставрация Лавры, специалисты столкнулись с серьезными проблемами: на какой период времени ориентироваться, реставрируя то или иное сооружение. Неизбежно получалось: на каком бы времени ни остановиться, ансамбль монастыря в таком виде не существовал никогда. Ведь облик монастыря менялся на протяжении столетий: возводились новые сооружения, перестраивались и перекрашивались старые. При реставрационно-восстановительных работах наряду с большими достижениями были и потери. Архитектура многих зданий в XVIII–XIX веках была чудовищно искажена. Это относится к Троицкому собору и Духовской церкви, которые были обстроены со всех сторон, а церковь Зосимы и Савватия вместе с Больничными палатами была так замурована при перестройке Казначейского корпуса, что виден был лишь шатер храма. При устройстве в царских Чертогах Духовной академии в 1814 году были сломаны парадные крыльца, уничтожена пестрая декорация фасада и т.д. В результате реставрации большинству памятников архитектуры возвратили в той или иной степени первоначальный облик: восстановлено позакомарное покрытие храмов XV–XVI века, убраны пристройки, освобождены проемы звонницы Духовской церкви, Архитектор и реставратор В.И. Трофимов (1906–2002), осуществлявший реставрационные работы в Лавре в 1938–1951 годах, буквально высвободил из каменного мешка Больничные палаты с церковью Зосимы и Савватия.

Неоднозначным кажется решение об окраске зданий. Митрополит Платон, бывший наместником Троице-Сергиевой лавры в течение 46 лет

(1767–1812), внес большие изменения в ее облик, в частности распорядился окрасить башни в красный цвет. В середине XVII века они были белыми. Такими их и решил сделать реставратор. Известный искусствовед М.А. Ильин так писал по этому поводу: «Все мы, любящие русское искусство, хорошо знаем большую картину художника К. Юона “В Сергиевом посаде”. Посеревший снег, хмурое небо, и на этом несколько сумрачном небе потрясающая красочность идущих и едущих на санях людей, различных лавок, но особенно самого монастыря – его стен, башен, палат, глав соборов – незабываемая, такая русская картина. Но теперь, если мы остановимся на горке, откуда рисовал свою картину К. Юон, мы ничего этого не увидим. Застроили? Снесли? – Нет, ни то, ни другое. В угоду упрямству реставратора – иначе не назовешь – все побелено, все унифицировано, и сверкающее разноцветие русского национального пейзажа принесено в жертву жестокой логике. Ведь надо помнить, что архитектура со временем меняет свой облик. Серые подслеповатые срубы изб древнего Сергиева посада давно ушли в прошлое. Вокруг монастыря появились новые каменные и яркие по цвету постройки, с обликом которых гармонировала радостная многокрасочность монастыря. Теперь же побеленные стены архитектурного ансамбля, превратившиеся в результате загрязнения воздуха в серо-грязные, уничтожили красочную перспективу монастыря». Мнение М.А. Ильина о недопустимости перекраски красных башен в белый цвет разделяли И.В. Трофимов, доктор исторических наук Т.В. Николаева, в течение ряда лет возглавлявшая историко-художественный отдел Загорского музея-заповедника, художник, член Центрального совета Общества охраны памятников культуры Н.А. Пластов и др.

Прекрасным дополнением архитектурного ансамбля Лавры были церкви Пятницкого монастыря, расположенного с юго-восточной стороны Лавры. Их ярко-розовые стены с белыми украшениями и синие главки давали дополнительный звучный аккорд панораме, открывающейся при приближении к Лавре с вокзала. Самая тяжелая участь выпала при

реставрации на долю именно этих церквей. Обе они были построены в середине XVI века. Но Введенская церковь этого монастыря была полуразрушена во время осады Троице-Сергиева монастыря в начале XVII века и восстанавливалась в XVIII веке. Пятницкая церковь пострадала меньше. При реставрации у обеих церквей было восстановлены позакомарные покрытия и даже вызолочены купола, но завершение храма осталось таким, как было сделано в XVIII веке. И теперь Введенская церковь производит особенно странное впечатление: тоненький барабан заканчивается маленькой главкой, как если бы у грузного дородного человека на тоненькой шейке сидела крохотная головка. Раньше такое уродство в какой-то мере искупалось ярким цветом. Пятницкая церковь с шатровой колокольной была, должно быть, перестроена в XVII веке, и ее облик гармоничнее облика Введенской церкви. Часовня над Пятницким колодцем когда-то, видимо, составляла с этими церквями единый ансамбль. Она была возведена над родником. На ней при реставрации восстановлена кровля из лемеха – осинового теса.

Окраску колокольни в «первоначальный» бирюзовый цвет нельзя признать особенно удачной. Раньше, по словам И. Шмелева, она смотрелась издали, как розовая пасхальная свеча. Теперь, особенно в пасмурный день, она выглядит серой. Таким образом, при реставрации архитектурный ансамбль Лавры много потерял в своей живописности. Но, к счастью, у реставраторов не поднялась рука уничтожить синюю окраску глав Успенского собора и Духовской церкви и снять золотые звезды, хотя эти изменения и сделаны в XVIII веке, при митрополите Платоне, то есть гораздо позднее того времени, когда храмы были построены.

О впечатлении от Троице-Сергиева монастыря так писал Б. Шергин: «А на Маковце, всякий раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда... Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот

холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: – Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится?!»

СВЯТЫЕ ОКРЕСТНОСТИ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Троице-Сергиева лавра! Почти семь столетий назад пришел сюда, на холм Маковец, юноша Варфоломей, будущий величайший святой Русской земли – Сергей Радонежский. Был здесь в ту пору дремучий лес. А нынче... Здесь, в древнем Троицком соборе, покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского. Сергей Радонежский... Почему его так называют? Радонеж – село километрах в 18 от Лавры. А когда-то стоял тут, в петле, образованной речкой Пажей, городок. Окружали его деревянные стены с башнями. От тех времен хорошо сохранились земляные валы. В XIV веке в Радонеж переселились из-под Ростова Великого бояре Кирилл и Мария. Одного из их сыновей звали Варфоломеем. Здесь прошла его молодость. В монахи постригли Варфоломея под именем Сергей. Он и стал основателем монастыря, называемого теперь Троице-Сергиевой лаврой. В Смутное время Радонеж разорили поляки. Долго сохранялась память о том, что здесь стоял город, в названии села – Городок. В середине XIX века в селе построили церковь Преображения Господня с приделом преподобного Сергия Радонежского. Смотришь на нее, и вспоминаются слова Д.С. Лихачева о сельских церквях, о том, что они служили «гармоническим завершением ландшафта», а «золотая маковка не только издали светилась, как яркая, веселая игрушка, но и была ориентиром для путника».

Об этой местности Борис Шергин (1893–1973) писал: «Посети Радонежскую землю. Ты увидишь холмы, то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты любишь святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и Его».

Теперь селу возвращено название Радонеж, а рядом с церковью в 1988 году установлен памятный знак преподобному Сергию работы скульптора Вячеслава Клыкова.

От Радонежа до Покровского монастыря в Хотькове километров пять. Сколько раз прошел этой дорогой Варфоломей?! Ведь тут, в Покровском

монастыре в старости жили его престарелые родители Кирилл и Мария – обитель была тогда смешанного типа – для старцев и стариц. Там же они были и похоронены. Их мощи покоятся теперь в Покровской церкви. День памяти этих святых 19 июля. Первое упоминание о монастыре есть в документе 1308 года. Но старые строения не сохранились. Каменные стены были возведены в конце XVIII века, розовая с колоннами Покровская церковь в стиле классицизма – в начале XIX века. А в начале XX века в монастыре выстроили большой кирпичный Никольский собор в псевдовизантийском стиле по проекту лаврского архитектора А.А. Латкова (1861–1930). Вдоль западной стены монастыря течет Пажа – та самая речка, что и в Радонеже. Стоят на ее берегах старые серебристые ветлы.

В середине XVI века монастырь стал женским. Монахини плели кружева, вышивали золотыми нитями, шелком и бисером, пекли узорные пряники, писали иконы на золотом фоне, делали лоскутные мячики – «гремушки». Богомольцы, шедшие к Троице, заходили в Хотьковский монастырь поклониться родителям Преподобного и покупали изделия монахинь на память. И. Шмелев вспоминал, что когда он в детстве побывал на богомолье у Троицы, то старушка-монахиня в Хотькове говорила путникам: «Уж заночуйте у родителей Преподобного, помолитесь, панихидку по родителям отслужите, схимонаху Кириллу и схимонахине Марии. И услышит вашу молитву Преподобный. У нас хорошо, порядливо... под Покровом Владычицы обитаем. Родители-то у нас под спудом... кутьицей сытовой родителей помяните, спаси вас Господи. Рукодельница наши поглядите, кружевки, пояски... деткам мячики подарите лоскутные, с вышивкой, нарядные какие...».

В начале 1920-х годов монастырь был закрыт. В тридцатые годы взорвали колокольню. Вокруг монастыря вырос промышленный город. Местность изменилась. Шергин писал: «Погляжу я на землю: там, где был лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо все то же... И то знаю, какова эта ненаглядная

серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергей Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий».

С начала 1990-х годов возобновилась монашеская жизнь. Идут ремонтные работы. И с маленькой деревянной звонницы разносится звон колоколов.

Немало святых мест было в окрестностях Лавры. К юго-востоку от нее находился раньше Спасо-Вифанский монастырь. Название напоминает о евангельских событиях. Иисус Христос пришел в селение Вифанию, узнав, о смерти своего друга Лазаря, и воскресил его. Основан этот монастырь в конце XVIII века митрополитом Платоном (Левшиным), заместителем Троице-Сергиевой лавры. Это при нем Лавра приобрела тот живописный вид, который запечатлен многими художниками.

Спасо-Вифанский монастырь стоял на берегу речки Кончуры, рядом с обширными прудами. Церковь имела два придела: верхний во имя Преображения Господня и нижний во имя воскресения Лазаря. Необычен был ее интерьер. И. Шмелев вспоминал: « В Вифанском монастыре, в церкви, гора Фавор! Стоит вместо иконостаса, а на ней – Преображение Господне. Входим по лесенке и смотрим: пасутся игрушечные овечки, течет голубой ручеек в камушках, зайчик сидит во мху, тоже игрушечный, на кусточках ягоды и розы... – такое чудо!».

Построил и для себя митрополит в монастыре покои. В конце XIX века в них был открыт музей. Сейчас большая часть вещей из этого музея находится в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике.

В Лавре и в Вифанском монастыре побывал после коронации император Павел. Ему так понравилась Вифания, что он распорядился открыть там духовную семинарию. В память об этом посещении митрополит Платон установил обелиск.

Число богомольцев, приходивших в Вифанию, все росло. И во второй половине XIX века был выстроен новый большой храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери. Он напоминал Успенский собор Троице-Сергиевой лавры. Этот монументальный пятиглавый храм, шатровая колокольня, ограда с башенками создали новый облик монастыря. Скоро потребовалось и расширение семинарии. Для нее выстроили величественное здание в стиле позднего классицизма (1826–1830). Вокруг были густые леса, полные грибов и ягод, широкие просторы полей, луга с цветами – ромашками и колокольчиками, богатые рыбой пруды с маленькими островками.

Дочь В.В. Розанова Надежда Васильевна (1900–1956), вспоминая, как они жили на даче в Вифании в 1913 году, писала: «Иногда вечерами мы ходили к монастырской гостинице и, заказав самовар, пили чай с земляничным свежим вареньем в саду, над самым озером. Из монастырской кухни приносили жбаны с квасом и чудесный печеный хлеб, такой вкусный, что и сейчас хочется потянуть носом».

От былого великолепия осталось только бывшая монастырская гостиница, нижняя часть Тихвинского собора да в полуразрушенном состоянии здание семинарии. Район сейчас называют Птицегодом, потому что в нем находится Научно-исследовательский институт птицеводства. О прошлом напоминает лишь улица, которой несколько лет назад возвращено название Вифанской. Но в самом монастыре в последнее время идут восстановительные работы: уже возведена колокольня, почти закончена постройка Преображенской церкви.

К востоку от Лавры, километрах в трех раньше был Гефсиманский скит. Название, как и Вифания, напоминает о евангельских событиях. В Гефсиманском саду под Иерусалимом молился Иисус Христос, перед тем как попал в руки врагов. И расположение этих пунктов – Вифании и Гефсимании – по отношению к Лавре подобно тому, как они расположены под Иерусалимом. Основан был скит в начале 1840-х годов наместником Лавры Антонием (Медведевым) при участии митрополита московского Филарета

(Дроздова) и предназначался для иноков, стремившихся к аскетической жизни, к уединению и тишине. Все в скиту напоминало обитель преподобного Сергия при его жизни. Из села Пососенья перевезли Успенскую церковь XVII века, рубленную из сосновых бревен, потом построили деревянную колокольню и братские корпуса. Будущий знаменитый старец Варнава (Меркулов; 1831–1906) так вспоминал о жизни в молодые годы в Гефсиманском скиту: «Из богомольцев в скит редко-редко кто зайдет, а то и никого нет. И хорошо было мне жить вдали от суеты мирской... тихо, покойно... Бывало выйдешь из землянки-то в лес, кругом, знаешь, такая тишина, как будто в могиле, только пташки Божии своим щебетанием нарушали тишину. На душе станет как-то спокойно... все мысли, все помышления в одном только Боге... Душа покойна – простора ищет...».

И.М. Снегирев писал о том, как жили в скиту в XIX веке: «Часы, свободные от молитв и остающиеся от сна, скитяне посвящали трудам. В келлиях, кроме установленных молитв и поклонов, они занимались рукоделиями: вырезали из дерева крестики, ложечки, подсвечники, чашки. Вне келий неуклонно отправляли различные послушания: весной и летом возделывали огороды, пололи и поливали овощи и цветы, косили, шевелили и убирали сено, чистили свой обширный плодовый сад; осенью заготавливали дрова на зиму». В конце XIX века при игумене Данииле в скиту были и пчельник, и скотный двор – ферма, и оранжереи. Архимандрит Евдоким писал о ските этого времени: «Тут и там не осталось ничего недостроенного и неустроенного. Там и здесь нет ни одного предмета, начиная от самых ничтожных и кончая самыми большими, на которых бы не лежала печать глубокой осмысленности, простоты и изящества».

В скитских церквях не было вещей из золота и серебра, утварь была в основном деревянная, а лампы – фарфоровые, фаянсовые и хрустальные. Необычное впечатление производила служба. Сохранилось несколько ее описаний. Когда была закрыта для верующих Лавра, в 1920 году в скит стали

пускать и женщин. Среди них оказалась Ксения Петровна Истомина (в замужестве Трубецкая; 1912–1995) – семья Истоминых, как и семьи многих других «бывших», приехала в 1920-х годах в Сергиев Посад. Она вспоминала: «Богослужения в скиту отличались замечательной красотой. Пение – столповое на крюках, всегда на два клироса с канонархами; полное отсутствие по уставу всякого драгоценного металла – все деревянное, перламутр, чудные облачения, изготовленные хотьковскими монахинями. В будни облачения были холщовые, отделанные с большим вкусом холщовыми же полосами искусно подобранного цвета. Помню облачения на Страстной седмице, поразившие меня своей красотой. По краю черных бархатных фелоней, на некотором расстоянии один от другого, ярко выделялись белые круги с разноцветными букетами цветов. Длилось богослужение по несколько часов...».

После революции монахи, чтобы скит не закрыли, преобразовали его в трудовую сельскохозяйственную артель. Из воспоминаний Ксении Трубецкой: «В скиту было прекрасно налаженное хозяйство. Все светилось чистотой и порядком. Никогда больше я не видела такого ухоженного скота и полей. Особенно помню, как лоснились бока и спины лошадей, с которыми так ласково обращались. Изготавливали в скиту какой-то необычайный квас из черной смородины. Он был так вкусен, что в свое время поставлялся к царскому столу. Близ скита были большие пруды. В них монахи развели каких-то замечательных снетков. Не знаю, ловили ли их на остальном протяжении года, но помню, что на Сырной седмице, именуемой в миру Масленицей, во льду делали проруби, сетки в них, можно сказать, набивались, и их во множестве вылавливали сачками. Отец Израиль и нам присылал этих снетков. Их замечательно вкусно жарили с блинами. Пруды были совсем рядом с Посадом и не огорожены. Все-все знали о снетках, но не было слышно случаев, чтобы их воровали». Монашеская артель получила название «Ферма». Так до сих пор называют этот микрорайон Сергиева Посада. В конце 1928 года скит был закрыт, строения его не сохранились.

А вот Пещерное отделение Гефсиманского скита уцелело. Оно больше известно под названием Черниговского скита. Всякий скит создается как место тихое, уединенное. Но у Черниговского скита была другая судьба. Некоторым монахам хотелось еще большего уединения. Они стали строить кельи на отшибе. После из них вырастали другие скиты и пустыни. Начало одному из них положил в середине XIX века юродивый Филиппушка (ум. в 1868), принявшийся копать пещеры неподалеку от Гефсиманского скита. Потом Лавра прислала в помощь рабочих. В большой пещере был устроен подземный храм, освященный в 1851 году. От него шли сводчатые коридоры с малыми пещерами. А наверху поставили деревянную надпещерную церковь.

В скит была пожертвована Черниговская икона Божьей Матери, вскоре прославившаяся как чудотворная. Богомольцы со всей России стремились поклониться иконе и побывать в скиту у старца Варнавы. Был он народным духовником. Тысячи людей искали у него благословения, совета в делах, утешения в скорбях. Всех он принимал с улыбкой и любовью. И. Шмелев, видевший старца, когда был ребенком, вспоминал: «...кажется мне, что из глаз его светит свет. Вижу его серенькую бородку, острую шапочку – скуфейку, светлое доброе лицо подрясник, закапанный воском. Мне хорошо от ласки, глаза мои наливаются слезами, и я, не помня себя, трогаю пальцем воск, царапаю ноготком подрясник. Он кладет мне на голову руку и говорит:

– А это... ишь любопытный какой... пчелки со мной молились, слезки это их светлые... – и показывает на восковинки».

Скоро Черниговский скит стал таким же притягательным для богомольцев, как и Лавра. Деревянный храм обветшал и стал тесен. Тогда было решено построить новый храм – каменный во имя Черниговской иконы Божией Матери. Его надо было поставить так, чтобы не повредить нижнюю, пещерную церковь. Лавра пригласила для этой работы известного архитектора и инженера Николая Владимировича Султанова (1850–1908). Он был представителем того варианта «русского» стиля в архитектуре, который

возник в царствование Александра III, и считал, что «...московский русский стиль достиг своего наибольшего, хотя и далеко не полного развития в XVII веке; и представляет нам образцы самостоятельного русского искусства». Архитектор справился с трудной задачей: возвел пятиглавый храм в стиле краснокирпичных ярославских церквей второй половины XVII века. После этого ему пришлось переключиться на создание памятника Александру II в Кремле. Стройную пятиярусную колокольню с шатровым верхом и ограду строил уже другой архитектор – лаврский архитектор А.А. Латков. Но можно с большой уверенностью предположить, что эту работу он выполнил, имея проект Султанова. Иначе не получилось бы такого замечательного целостного ансамбля.

Великолепен был и интерьер храма. Точной копией иконостаса церкви Иоанна Предтечи в Ярославле был его четырехъярусный иконостас из позолоченной меди, с чеканкой и разноцветными эмалями. Освящение главного престола храма состоялось в 1893 году.

В 1921 году Черниговский скит закрыли. В нем была устроена колония для инвалидов труда, больше похожих на уголовников. Чудотворную Черниговскую икону Божией Матери увезли, и она пропала. Сбросили с колокольни колокола. К. Трубецкая вспоминала, что самый большой колокол «упав, не разбился. К счастью, техники тогда особой не было, и колокол старались безуспешно расколоть, чтобы увезти. Мощное тело его не поддавалось злобным усилиям. Тогда дождались морозов и облили колокол кипятком. Этого он не выдержал и лопнул с громким стоном, далеко отозвавшимся в холодном воздухе».

Прочные строения скита устояли в те годы. В 1990 году их возвратили Лавре, и монашеская жизнь возобновилась. В настоящее время реставрационные работы почти завершены. Особенно поражает интерьер храма – необыкновенно светлый и радостный. Удалось разыскать и могилы погребенных в скиту известных философов К.Н. Леонтьева и В.В. Розанова. На их могилах восстановлены кресты.

В середине XIX века была основана неподалеку от Гефсиманского скита Боголюбивая пустынь, чаще называемая Киновией. По-гречески это слово означает – маленький монастырь. Основателем был тот же Филиппушка, который копал пещеры, положившие начало Черниговскому скиту. Храм Боголюбской иконы Божией Матери освятили в 1861 году. Киновия была уединенным местом. Здесь хоронили монахов Лавры. В 1920-х годах ее закрыли.

Дольше других оставался действующим дальний скит, называвшийся греческим словом Параклит, что значит Святой Дух-утешитель. Посещение скита описал о. Федор Соловьев, будущий старец Алексей Зосимовский (1846–1928). Овдовев, он собирался стать монахом в монастыре со строгим уставом: «...я мечтал о Параклите, – Параклит – это пустынька в лесах за Троицей, недалеко от Черниговской; устав там строгий, подвижнический, женщин в обитель не пускают»... В июне 1897 года он и отправился в Параклит вместе с племянником. «Приехали мы с ним к Троице, оттуда взяли извозчика, и поехали в Параклит. День был жаркий, солнечный, мы ехали, всё углубляясь в лес. И чем дальше мы ехали, тем глуше становилось, и такая благодать. Кругом все лес, всюду цветы, земляникой в воздухе пахнет; солнце светит сквозь чащу ветвей, птички поют, а кроме их голосов, кругом полная тишина, сердцу так легко, так хорошо от тишины. “Вот – говорю я племяннику, – где может быть настоящее житие монашеское”. Вскоре увидели деревянные домики и церковь, обнесенные деревянным забором. Входим в пустынь. Кругом ни души, будто никто здесь и не живет, обошли мы все строения – никого. Наконец, натолкнулись на монаха, шедшего в обитель с косой на плече, видимо, с работы. Мы к нему: “Где братия?” – спрашиваем, – “На работе, на лугу сено косят”. – “Можно церковь посмотреть?” – объясняем, кто мы такие. – “Можно, – говорит, – сейчас будет вечерня, я сам иду к вечерне, я ведь пономарь”, – а сам с трудом переступает от усталости. Отпер он церковь, очень она мне понравилась. “Вот, подумал я, – где молиться хорошо!” Стали мы сбоку, ждем начало

службы. Видим: входит старый инок, такой смиренный и скромный, становится в стороне, в углу, вместе с братией, – это, оказалось, сам игумен; и старец там был, тоже замечательной жизни, подвижник, и тоже стал смиренно позади всех. И братья все, хотя, видимо, усталые, только с послушания пришли, а стоят с полным вниманием и благоговением. Служба идет так чинно, и чтение уставное – громкое, явственное, и пение стройное, неспешное – очень все это мне по душе было...».

А в 1920-х годах побывал в Параклите юный в ту пору граф Алексей Комаровский (1914–1988). «Это был мужской монастырь с очень строгим аскетическим уставом, где жили иноки, решившиеся на подвиг суровой затворнической жизни, – вспоминал он. – Параклит размещался в девяти верстах от Лавры на небольшой поляне, окруженной со всех сторон густым еловым лесом. От скита вела к нему глухая, мало наезженная и потому заросшая дорога, вдоль которой вилась узенькая, скользкая от лесной сырости тропка... Ходили мы туда с моей тетушкой Софией Владимировной Олсуфьевой. После длинной и утомительной дороги мы подошли к монастырским воротам и через привратника попросили, чтобы к нам вышел о. Порфирий, живший в Параклите после закрытия скита (Гефсиманского – Т.С.). Беседовал о. Порфирий с тетей в небольшой избушке, стоящей вне ограды. После беседы он провел меня в ограду, а затем в трапезную. Тетя осталась ждать вне монастыря. Был жаркий летний день. На поляне около церкви сушилось сено. Монахи в белых нательных рубашках, творя Иисусову молитву, ворошили и складывали в копны сено. На спине рубашки у каждого был вышит черный череп со скрещенными под ним костями. От тишины, от черных черепов, а, может быть, от пряного запаха свежего сена мне стало как-то не по себе. Я попал в другой, неведомый мне мир бытия. В это время прозвучал колокол, и все пошли в трапезную. Там, также храня молчание, за длинными столами из струганных досок сидела на лавках братия. Только голос чтеца нарушал тишину. На столах вся посуда была деревянная. Кормили щами из кислой капусты и картошкой с зеленым луком,

но без масла. Вероятно, день был постный. Перед каждой чашкой лежал большой ломоть еще теплого, очень вкусного черного хлеба. Брал ли кто из монахов добавку, я не заметил. Но мне, совсем не избалованному подростку, трапеза показалась очень скудной».

Вспоминая о 1920-х годах, князь Сергей Михайлович Голицын (1909–1989) писал: «Троице-Сергиевская лавра была закрыта, но скиты Гефсиманский – вблизи Глинкова, и Параклит – подальше еще существовали. В лесу или по дороге в Сергиев Посад можно было встретить монаха в скуфейке, в запыленных стоптанных сапогах, который шел, наклонив голову, шепча молитвы. На фоне елового леса, придорожных цветов он казался словно спустившимся с картин Нестерова или с этюдов Корина. Да, дух преподобного Сергия покинул Лавру, а здесь, в обоих скитах, по лесам и тихим речкам он еще витал...»

К северо-западу от Лавры, километрах в девятнадцати, в 1913 году была устроена последняя пустынь – Гермогеновская, владение Николо-Угрешского монастыря. В лесной чаще построена была деревянная церковь, посвященная Святителю Гермогену Патриарху Московскому. Так вспоминал о посещении пустыни в 1923 году будущий протодиакон Сергей Боскин (1907–1992): «Неожиданно мы оказались перед высоким бревенчатым забором. За ним на освещенной солнцем поляне – церковь с колокольней, на расстоянии вокруг – домишки, ближе к воротам – землянка... Долго стояли мы, отдыхая в благодатной тиши, ждали – не откроет ли кто... Церковь золотится своими бревенчатыми стенами, домики – в зелени, маленькие, светленькие, грядка с овощами, заросли иван-чая, молодые елочки, березки и белые грибки. А вот и запоздалая крупная земляника. Здесь не тревожат, не переделывают, во славу Божию все живет и растет. Лесом шли – аромат удивительный, здесь на солнце все благоухало. На церковном крыльце, отдыхая, молчали: тишина неземная... Красота увиденного дополнилась музыкально настроенным звоном пустынным. Вошли в храм. Бревенчатые стены, иконостас – без украшений, чистой работы. Иконы хорошего

письма... В тишине, молитвенно, уставно в пустынной церковке прошла всенощная с отцом Епифанием. Затем мы прошли в его келию – маленький домик из двух крохотных комнаток. Отец Епифаний надергал из грядок морковки, репы. Затем в печурке на таганке, добавив капусты, поставил вариться. У нас, – сказал он, – в двух верстах за лесом находится хозяйственный двор – лошадка, коровка, хлебное поле, на опушке леса – сенокос, там сегодня и готовили для братии. От собранного урожая мы и питаемся – двенадцать иноков. Доходов у нас никаких, свечного ящика в церкви нет. В праздники из деревень придут несколько человек, а поданные ими поминанья возвращаем мы с вынутыми просфорами бесплатно... Вот и трапеза готова, устроились на березовых кругляшках вокруг круглого обреза от большого пня. Подкреплялись отварными овощами, прочитали вечернее правило. На отдых легли на полу. За стенкой долго слышались земные поклоны. Утром отец Епифаний поднял нас на молитву, затем благословил идти в церковь.

Литургию служил один о. Лука. Кроме отца Епифания, на клирос пришли еще два инока: монах Павел и молодой послушник Александр. Литургию пропели по обиходу в шесть голосов, легко и ладно. На левом клиросе стоял пожилой, строгого вида иеродиакон пустыни, временами он уходил в алтарь для исполнения пономарских обязанностей... По выходе из храма мы остановились. В утреннем освещении он казался еще светлее, нежнее – совсем новенький, но от него веяло святыней древности и преданием многовекового прошлого. С храмов, подобных этому, и начались обители земли Русской».

Побывал в Гермогеновой пустыни и Сергей Голицын с сестрами и друзьями. «Тот поход, – писал он, – а вернее богомолье, вспоминается мне как одно из самых поэтичных впечатлений моего отрочества. Благостное чувство охватывало нас, когда мы шли от деревни к деревне то полями, то перелесками, наконец, нам показали малоезженую дорогу, и мы углубились в вековой лес, а вскоре нам представился вид словно с картины Нестерова:

лесная поляна, местами распаханная; пара лошадей пасется, иноки работают на пашне, на краю леса несколько недавно срубленных, малых, крытых соломой избушек; над той, что была побольше и крыта тесом, поднималась кругленькая луковка из осиновых дощечек, увенчанная деревянным крестом. Постройки окружала изгородь из слег.

Наш приход сперва вызвал у монахов смятение – нас приняли за представителей власти. А услышав, что мы богомольцы, монахи собрались совещаться, как нас устроить, чем угостить... Шла всенощная, мы вошли в церковку и встали в полутьме притвора... Когда же служба кончилась, нас позвал к себе древний старец отец Андрей и начал ставить самовар. Никак у него не ладилось, единственная в скиту самоварная труба была старая, продырявленная во многих местах, пламя вырывалось наружу, и вода никак не закипала. Отец Андрей охал – вот какая беда: из-за трубы он не может нам предложить чаю из земляничных листьев с медом». Друг автора воспоминаний Андрей обещал своему тезке-старцу при первой же возможности доставить новую самоварную трубу. Он выполнил обещание, приехав осенью в пустынь. «Явился он туда ночью, насмерть перепугал монахов и вручил трубу старцу. Недолго она послужила. Через год мои сестры и Андрей, но уже без меня, – писал Голицын, – снова отправились в пустынь и застали там мерзость запустения: бревна избушек были развезены по окрестным деревням, монахи разошлись в разные стороны. В зарослях крапивы валялся никому не нужный осиновый церковный куполок с поломанным крестом...».

Дальше всего от Лавры, километрах в двадцати, находится Смоленская Зосимова пустынь. Расположена она на холме, поросшем еловым лесом, на берегу речки Молокчи. По преданию, основал ее в середине XVII века старец-схимник Троице-Сергиева монастыря Зосима. После его кончины обитель запустела. И только при архимандрите Троице-Сергиевой лавры Павле (Глебове; 1891–1904) в конце XIX века развернулось строительство. Главный храм в честь Смоленской иконы Божией Матери был закончен и

освящен в 1897 году. Позже были построены другие церкви, колокольня, ограда – все из красного кирпича. Над старым колодцем, выкопанным по преданию еще старцем Зосимой, соорудили открытую часовню. В куполе ее был написан образ Христа Спасителя. Он отражался в воде колодца.

Монахи – в основном они были из крестьян – сеяли рожь и овес, сажали овощи и фруктовые деревья, завели пасеку, приобрели скот. Возникло образцовое хозяйство. Жизнь была скромной и тихой. «Тогда здесь была такая глушь, что ветки деревьев качались у моего окна, а по ним прыгали белки...» – вспоминал старец Алексей (Соловьев), приехавший в пустынь в 1898 году. Настоятелем в то время был игумен Герман (ум. в 1923), пришедший из Гефсиманского скита, человек исключительной скромности. Был он великим молитвенником, писал иконы. Строгий к себе, заботился о братии и превосходно организовал хозяйство обители.

В Зосимовой пустыни и принял постриг о. Федор Соловьев. Вскоре к нему, старцу Алексию, потекли люди за советом и духовным руководством. Каждый день исповедовал он посетителей в своей избушке. Его терпение и любовь к людям были безграничны. Забывая себя, он всех утешал, ободрял, наставлял.

Многим запомнилась дорога к Зосимовой пустыни. М.А. Голубцова (1887–1925), дочь профессора Московской духовной академии, сотрудница Государственного Исторического музея, приезжала в Зосимову пустынь в 1920 году. Вот она вышла на станции ранним июньским утром. «Эта узкая лента дороги, лесной свежий запах, росистость травы и утренняя влажность земли сразу рассеяли мое хмурое недовольство – я не выспалась, хотелось покоя. Когда же через полверсты мы вышли на склон холма и передо мной открылась широкая долина, зеленый луг заблестел росой и, вытянувшись, как свечи, встали стройные елочки и затемнел вдали сквозь туман лесистый склон холма, – душа моя вся зажглась восторгом утренней молитвы к Творцу всей этой чистой, ясной только проснувшейся красоты земной. Кажется я никогда не забуду этого утра»...

В монастырской гостинице: «...нас встретила красная лампада у образа Смоленской Божией Матери, и от этого приветом стало сразу на душе тепло и уютно, и тайная надежда на душевный мир начала работу в глубине существа. В темном коридоре поздоровались мы с отцом Тимолаем, и он благословил нам маленький номерок на двоих, тотчас налево от входа. Все имело для меня еще прелесть новизны: самовар наш и незатейливое хозяйство 20-года – сухари, картошка, советский кофе, селедка. Все было так вкусно, а уж уютно!.. – две постели по стенам с подушками, покрытыми жесткими байковыми одеялами. У окна маленький столик, 2–3 стула разных фасонов; в углу образ с лампадой, и под ним на столике книжечка-другая из монастырской библиотеки – Четьи-Минеи или “Душеспасительное чтение”. Пол белый, стены бревенчатые, и все, как в келии. Хорошо! Душа отдыхает...».

Раньше, еще до революции, не раз бывал в пустыни Сергей Фудель (1900–1977), в будущем известный духовный писатель. Он вспоминал: «С семнадцати-восемнадцати лет все было у меня связано с Зосимовой пустыней. Туда мы ездили часто и чуть ли не всей семьей по нескольку раз в год. Вот уходит поезд, из которого мы вылезаем в Арсаках по Ярославской ж.д. И так уж тихая станция совсем затихает, и тишина охватывает нас. Знакомая пролетка, и знакомый кучер монах, одетый в какую-то смесь мирского с монашеским, и знакомая лесная дорога, по которой мы устремляемся в еще большую тишину мимо елей и берез и болотистых канав с незабудками.

Природа здесь не та, что в Оптиной – здесь север, и кругом монастыря густой еловый лес. Удивительно, как раскрывается человеку природа, когда он у церковных стен. Один ряд номеров гостиницы выходил окнами прямо в лес. И вот я помню, как зимой откроешь форточку и чувствуешь запах снегов среди елей и среди такой тишины, которая уму непостижима. Все живое и нетленное, и благоухающее чистотой. Там, где монахи – истинные ученики Христовы, там около них расцветают самые драгоценные цветы земли, самая

теплая радость земли около их стен... Монастырские службы в таком монастыре, как Зосимова, особенные. Если отдать себя им вполне и доверчиво, то такое чувство, будто сел в крепкую ладью, и она вздымает тебя по волнам выше и выше. Тебе и страшно немного, и в то же время так хорошо».

В 1923 году пустынь закрыли. Выселили монахов. Старец Алексей нашел приют вместе со своим келейником о. Макарием в Сергиеве у одной из своих духовных дочерей. Скончался он 19 сентября 1928 года на 83-м году жизни. В 1994 году останки его перевезли в Зосимову пустынь. Они покоятся теперь в приделе Смоленского храма.

Многое в Зосимовой пустыни было разрушено. Но главный храм и стены устояли. Сейчас возобновлено монастырское житье. И опять летом не застать монахов – все на покосе. Все трудятся. И по-прежнему словно тихое веяние благодати ощущается там повсюду.

ИГРУШКИ СЕРГИЕВСКОГО КРАЯ

«Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям первую деревянную игрушку сделал сам преподобный Сергей, – писал Борис Шергин. – Он будто бы сам вырезал (“этим самым ножом в ножнице на ремешке”) из липы птичек, коньков и дарил “на благословение” детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, вышла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия – резные кресты, панагии – хранятся в Лавре».

Село Богородское, что в километрах 27 от Сергиева Посада, по сей час сохранило мастерство резной деревянной игрушки. Художница Татьяна Грушевская (1885–1976), работавшая в Загорском историко-художественном музее, писала: «Еще в 1934 году село Богородское производило впечатление своеобразной патриархальности быта. Лежащее на холме, оно до глубины каждого кустика пронизано солнцем, солнце стоит как будто бы ближе к селению, чем к окружающему его поясу лесов, темными пятнами лежащих на спусках холмов и в долинах речек. Светлое дерево липы в руках богородских мастеров точно также светится солнечным блеском в лучистых орнаментах птичьих крылышек, в струящихся линиях меха баранов и медведей, в березовых листочках, дрожащих на тонких проволочных спиралях».

Когда-то село принадлежало Троице-Сергиевому монастырю. Сохранились сведения, что Петр I дарил своему сыну, царевичу Алексею богородских «кузнецов» и «секачей на колесах». Часть игрушек отправляли в Посад неокрашенными. Краски наносили уже в Посаде. Это так называемые «барыни и гусары», заменявшие неимущим людям фарфоровые фигурки. А еще раскрашивали в Посаде солдатиков. О них так вспоминал художник

Александр Бенуа (1870–1960): «...Почти ничего не стоили военные игрушки народные, иначе говоря, те деревянные солдатики, которых можно было купить за несколько копеек на любом рынке... Нравились они мне по двум причинам – и потому, что они были раскрашены в особенно яркие и глубокие “колеры”, и потому, что они восхитительно пахли, “пахли игрушками”, – пахли тем чудесным запахом, которым густо были напитаны и игрушечные лавки».

Делали в Богородском и игрушки, сохранявшие естественный цвет дерева. Ведь порезки хорошо передают фактуру одежды или шерсти животного, окраска же сделала бы их менее эффектными. А вот для игрушек с гладкими поверхностями богородские мастера обязательно применяли краску. Так, в классическом варианте «кур на кругу» красной краской окрашивают хвосты и гребешки, да еще на туловище наносят несколько мазков красной и черной краски. Интереснее всего для детей, конечно, были игрушки «с движением» – на планках, с балансом, на пружинках. Это «кузнецы», «куры на кругу», «дергунчики» – медведи и совы, «солдаты на разводах», «щелкуны. Одного такого щелкуна мы видим на картине Валентина Серова «Девочка с персиками».

В 1960–1970-е годах героями богородской игрушки «с движением» стали медведи. Идея пришла в голову потомственному мастеру И.И. Зинину, и скоро эта игрушка стала очень популярной. Оказалось, что все новинки науки и техники – от освоения космоса до работы на компьютере – может «освоить» и игрушечный медведь. Некоторая неуклюжесть зверя и тонкость работы, которой он занимается, рождает добрую улыбку.

Деревня Богородское по сейчас сохранила мастерство резки деревянной игрушки.

«А вообще сергиевская игрушка, – как писал Шергин, – это истинная радость и для ребенка, и для художника – многолика и разнообразна была она по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, “хлебом” здешнего края, овейного, осененного светом Радонежа. “Не сами, по родителям”, скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом “эти бедные селенья, эта скудная природа”, из подслеповатого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский игрушечник, видны тощие нивы, глиняные, ухабистые дороги, “серенькое русское небо”, а на убогом дощаном столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, жость, бумага, все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, брусничных, маковых, сахарных, седых, облакитных, бирюзовых, жарких тонов и цветов».

Развитие промысел, очевидно, получил потому, что сбывали игрушки прежде всего богомольцам, приходившим в Лавру. Ведь пешие богомольцы обычно оставляли детей дома. А какой гостинец принести ребенку с богомолья? Ну, конечно, игрушку! Вот и работали кустари и деревянную игрушку, и игрушку из папье-маше, и тряпичную.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев (1844–1918) вспоминал о том, как он бывал в детстве в Сергиевом Посаде: «Родители мои посещали Лавру почти ежегодно и не раз; моя мать любила останавливаться в Старой лаврской гостинице и не торопилась уезжать. Живали мы и зимою, и во всякое время года. Эти зимние пребывания мне особенно памятны. Бывало, любуешься из окна, как по воскресным дням вся площадь заставлена возами, какое шумное и возбужденное оживление на базаре.

Памятна и дорога мне аллея под стенами Лавры со своими лавочками, в которых из года в год продавались все те же неизменные чашечки с цветками, кринки для масла с крышками и с выпуклыми изображениями грибов или же планы и маленькие здания Лавры в виде игрушек, расставленных по соответствующим местам. Но всего более привлекали деревянные зеленые лягушки размера и вида настоящих, под которыми находилась дощечка, обмазанная клеем. Она приспособлялась таким

образом, что когда отклеивалась, лягушка сама собою прыгала по полу. Как давно знакомы мне эти книжные лавочки с иконами и свечами, с четками и поясками...».

Эти воспоминания относятся, видимо, к 1850-м годам. Судя по книге И. Шмелева «Богомолье», ассортимент игрушек оказался гораздо шире уже к концу 1870-х: «Потом ходим в игрушечном ряду у стен, под Лаврой. Глаза разбегаются – смотреть. Игрушечное самое гнездо у Троицы, от Преподобного повелось: и тогда с ребятенками стекались. Большим – от святого радость, а несмысленным – игрушечка: каждому своя радость.

Всякое тут деревянное точенье: коровки и овечки, вырезные лесочки и избушки, и кующие кузнецы, и кубарики, и медведь с мужиком, и точеные яйца, дюжина в одном: все разноцветные, вложенные друг в дружку, с красной горошинкой в последнем – не больше кедрового орешка. И крылатые мельнички-вертушки, и волчки-пузанки из дерева, на высокой ножке, и волчки заводные, на пружинке, с головкой-винтиком, раскрашенные под радугу, поющие; и свистульки, и оловянные петушки, и дудочки жестяные, розанами расписанные, царапающие закраинками губы; и барабанчики в золоченой жести, радостно пахнущие клеем и крепкой краской, и всякие лошадки, и тележки, и куколки, и саночки лубяные, и... И сама Лавра-Троица, высокая розовая колокольня со всеми церквами, стенами, башнями, – разборная. И вырезные закуски на тарелках, кукольные, с пятак, сочно блестят, пахнут чудесной краской: и спелая клубника, и пупырчатая малинка, совсем живая; и красная, в зелени, морковка, и зеленые огурцы; и раки, и икорка зернистая, и семужий хвост, и румяный калач, и арбуз алый – сахарный, с черными зернышками на взрезе, и кулебяка, блины стопочкой, в сметане... Тут и точеные шкатулки с прокладкой из уголков и крестиков, с подпалами и со слезой морской, называемой перламутр; и корзиночки и корзины – на всякую потребу. И веселые палатки с сундучками, блистающие, как ризы в церкви. И образа, образа, образа – такое небесное сиянье! – на всякого святого».

Но вот загадочных прыгающих лягушек Шмелев уже не видел. Он упомянул игрушку «Лавру». О ней так писал директор Сергиевского историко-художественного музея А.Н. Свирин: «Следует отметить, что внешний яркий облик лавры вошел в народное творчество в виде “игрушки лавры”, изготавливаемой местными кустарями. По своим художественным достоинствам эта игрушечная “лавра” нечто гораздо большее, чем простая игрушка – в ней кустарь-художник с большим чувством и пониманием форм здания сумел передать все типичные особенности и пропорции каждой постройки, создав в общем пеструю, полуфантастическую сказку-игрушку». Эта игрушка в 1920-е годы завершала собой экспозицию архитектурного отдела музея.

Игрушечный промысел быстро развивался. Игрушки сбывали не только у стен Лавры, но отвозили в Москву сначала гужевым транспортом, потом по железной дороге (железнодорожное сообщение было открыто в августе 1862 года). Из Москвы товар развозили по всей России.

Немало было и игрушек из папье-маше. Много делали коней на колесиках и на качалке. Головки у нарядных кукол-«талей» тоже были из папье-маше. А сама кукла была разодета, как городская модница. И еще всякие игрушки мастерили посадские умельцы, но особенно прославилась матрешка. Кто придумал первую матрешку, и когда точно это произошло – теперь уже трудно установить. Видно, никто не предполагал вначале, какую популярность она приобретет. Вот и не обратили вовремя на нее внимания. Известно только, что выточил первую матрешку токарь В.П. Звездочкин. И произошло это в Москве, в мастерской «Детское воспитание», принадлежавшей М.А. Мамонтовой. Но кто же был художником, кто придумал расписать ее, как девочку? Чаще всего называют имя известного живописца и графика Сергея Малютина (1859–1937), увлекавшегося народным искусством. Произошло это в конце XIX века. А известность матрешке принесла Всемирная выставка в Париже в 1900 году. Так что матрешке всего-то сто небольшим лет, а кажется – она была всегда.

Одна из первых матрешек – девочка с черным петухом – находится в Художественно-педагогическом музее игрушки в Сергиевом Посаде. А рядом – японские игрушки: деревянные куклы кокэси и мудрец Фукурума. Предполагают, что замысел матрешки и возник, когда кто-то привез из Японии такие игрушки. Но матрешка полая, в ней помещаются еще одна за другой матрешки все меньше и меньше, а кокэси – изящная, тонкая, ее туловище сплошное. Мудрец разъемный, в него входят другие фигурки, только назвать эту игрушку красивой – трудновато. А матрешка такая милая! Прозвали ее так не случайно. Матрена – имя деревенское. Вспомним Пушкина. Он назвал Татьяной свою героиню:

*Итак, она звалась Татьяной.
Впервые именован таким
Страницы нашего романа
Мы своевольно освятим...*

С легкой руки Пушкина имя Татьяна перестало быть простонародным. Но даже Пушкин не решился сохранить подлинное имя дочери Кочубея. В поэме «Полтава» героиню зовут Марией. На самом же деле ее звали Матреной. В России конца XIX– начала XX века матрешками называли девочек, привезенных из деревни в город, в прислуги, милых и слегка неуклюжих. Такую девочку в сарафанчике с фартучком, в платочке, круглолицую и румяную, и изобразил Малютин. Когда матрешку увидели в Сергиевом Посаде, ахнули. Кустари быстро освоили новую игрушку. Ведь издавна точили они пасхальные яйца – одно в одном. Потом матрешку делали в городе на фабриках игрушек. В последнее время ею занялись и профессиональные художники, создавая авторские экземпляры этой игрушки. По всему видно, что матрешке суждена еще долгая жизнь.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

Дневники Ю.В. Готье

Юрий Владимирович Готье (1873–1943), историк, профессор Московского университета, директор библиотеки Румянцевского музея (Библиотеки им. Ленина, теперь РГБ), в 1918–1922 годах вел дневники. Опасаясь обысков, передал их за границу. Они нашлись много лет спустя в библиотеке Стэнфордского университета (Калифорния) и оказались очень ценным документом, благодаря тому, что были недоступны для исправлений задним числом. Весной 1919 года Готье с женой и сыном приехал в Сергиев Посад. Его краткие записи живо рисуют обстановку того времени в городе, события, настроение людей. Становятся ясны причины, по которым многие стремились уехать из Москвы в Посад. Обращает на себя внимание его восхищение еще нетронутой природой окрестностей города. Интересны пусть мелкие штрихи, касающиеся отдельных лиц, с которыми он встречался: Ю.А.Олсуфьева, С.П.Мансурова, о. Алексия Серафимовича и др. Именно Готье выпала миссия превратить Лаврскую библиотеку в филиал Румянцевской библиотеки. В дневниках он указывал даты по старому и новому стилю.

«Год 1919.

3/16 апреля. Сергиев Посад. Экспедиция сюда, проектированная едва ли не несколько месяцев назад, состоялась. Нина и Володя приехали в субботу, 30/12, и устроились в маленьком обывательском домике, за Лаврой, на Штатной улице, в сравнительно демократическом квартале Посада. Такое предприятие в прежнее время было бы невероятным и немислимым. Мы проводили Пасху в Крыму; раньше я проводил ее в Петербурге, Киеве, деревне и т.п.; теперь, чтобы немного отойти от ужаса московской жизни, мы спрятались в убогой, хотя и чистой комнатке посадского бывшего полотера и

его жены, и невестки, бывших вышивальщиц, и сына, бывшего живописца, а теперь милиционера; так и здесь все меняется и все приходит в упадок.

Чтобы приехать сюда, мне пришлось на себе притащить ношу около 2-х пудов, быть может, даже больше; я пронес ее по Моховой до вокзала и здесь по Посаду, ночью, спускаясь и подымаясь по здешним горам и оврагам среди ручьев и луж...

Вчера ходил на рекогносцировки; изучение местности показало, что здесь голоднее, чем в Москве; однако можно достать много молочных продуктов, хотя и по жестоким ценам; хлеба нет; картофеля с трудом купил пуд... Мы приехали сюда сейчас же после вскрытия мощей преподобного Сергия, здесь ходят слухи, что хотят даже увезти мощи и закрыть Лавру; но по наружности здесь все спокойно; народ безмолвствует, хотя, конечно, недовольство, по всем данным, существует...

4/17 апреля. ... Были в Троицком соборе у обедни и прикладывались к обнаженному скелету преподобного Сергия; его оставляют в том виде, как он получился при вскрытии; как я сегодня узнал, это делается нарочно и, по моему, правильно; говорят, что и врачи, вскрывавшие признали скелет лежавшим 500 лет, а найденные желтые волосы – седыми, но пожелтевшими от времени...

После церкви долго сидели на лестнице Лаврской колокольни; но нет во мне ни религиозного, ни исторического чувства; переживаемое вытравило во мне и то, и другое; против Лавры горели ряды, полные реквизированного товара: говорят, загорелось в лавке, где была обувь, предназначенная для выдачи населению; вероятно, товарищи раскравили и подожгли; ... население равнодушно смотрело на пожар и не заботилось о его тушении – пришлось слышать много разговору на тему, что ранее, где пожар, то сейчас же тушили, потому что свое было, а теперь некому и не для кого. Завершили прогулку блинами, заплатив за 10 штук (отличных, правда, блинов) 30 рублей; это характерно для экономической оценки момента. 12 Евангелий

стояли в Академической церкви; публика здесь более изысканная, чем в Троицком соборе; отличное чтение, но убийственный холод...

5/18 апреля. Продолжаю отсыпаться – опять 12 часов подряд; вечером от 5 часов в Лавре; дивный день и такой же дивный вечер; с балкона трапезной чудесный вид в сторону Вифании с теплыми весенними тонами; бодрит и внушает какую-то смутную надежду, которую в себе тут же заглушаешь. Курьезная подробность, здесь слышанная: местные большевики не устраивают куличей и пасху, а справляют праздник пирогами с вареньем, чтоб отличаться от обыкновенных людей. Мне нравится здесь обиход Страстной, особенно вчера – вынос плащаницы из одной церкви в другую; несмотря на уничтоженность Лавры и академии, все это хранит свою большую и древнюю красоту.

6/19 апреля. День по службам; литургия Великой Субботы в Троицком соборе с его подкупающей древностью: “Воскресни, Боже” Бортнянского напомнило мне старые времена, когда мы с мамой регулярно, из года в год, выстаивали службы у Храма Спасителя...

7/20 апреля. Заутреня в Лавре; во многих местах мне приходилось встречать Пасху, но обстановка Лавры имеет свою прелесть, несмотря на уничтожение, в котором теперь пребывает и Лавра, и академия; мы простояли почти всю заутреню и, шлепая по грязи, вернулись домой и разговелись скромными куличом и пасхой, которые мне никогда не казались такими вкусными, как в этот раз... Сегодня после позднего и сытного завтрака (я подчеркиваю это свойство, потому что в нем выражается вся суть переживаемого момента), мы отправились в гости к Каптеревым и к Голубцовым и отлично провели время до 9 часов вечера. По Посаду ходили группами обыватели, чувствовалось праздничное настроение, что мало вязалось с нашими ощущениями...

С молодым поколением посадским, т.е. с И.А. Голубцовым, моим учеником, и с Каптеревыми время прошло очень скоро в оживленной и приятной беседе; я многое выяснил себе в теперешнем положении Лавры и

ее главной святыни, которой, по-видимому, грозят дальнейшие осложнения из-за деятельности группы евреев, вертящих русскими дураками на тех «электрокурсах», которыми захвачена академия. Очень курьезна беспечность высшего Лаврского начальства и московского патриаршего управления: в вопросе о мощах они уподоблялись страусам, прячущимся в собственные крылья. Кажется, более всего энергии и деятельности проявляла и проявляет та самая светская университетская молодежь Лавры, с представителями которой мы вчера проводили время.

13/26 апреля. Опять день в Троице; первая гроза, в промежутках между дождями прелестная весенняя погода; возникает вопрос об устройстве здесь на все лето...

14/27 апреля. ...Решили провизорно летний вопрос и сняли две комнаты у А.А.Тихомирова в доме Каптеревых; очень хороша обстановка дома и сад; ... рядом леса и поля по направлению к Вифании и Черниговке...

22 апреля/5 мая. Двое суток у Троицы; отличная прогулка по лесам и полям в воскресенье...

7/20 мая. ... Конец дня посвящен был занятию на огороде; благодаря любезности Каптеревых, мы имеем небольшой огород, и наши аппетиты разгораются: хотим сеять даже картошку; таковы мечты буржуев в 1919 году...

12/25 мая. Первый летний день. Лазили с Володей на Лаврскую колокольню и любовались дивным видом: хороший летний день все-таки ободряюще действует и заставляет как-то отходить мыслью от всего происходящего и менее думать о прелестях мировой революции...

24 мая/6 июня. ...Вечером приехал в Сергиево; весенний вечер, гроза, тепло, светло, уютно.

25 мая/7 июня. ...Отличная прогулка в Вифанию; тропический день с грозой; купание в Вифанских прудах...

26 мая/8 июня. Троицын день у Троицы; прогулка в Лавру к обедне; масса народа, обычное гулянье в храмовые праздники, но в больших размерах. В Троицкий собор не пробраться; там служил патриарх...

1/14 июня. Великолепная прогулка на велосипеде с С.Н. Каптеревым; нельзя себе даже представить, до чего очаровательны окрестности Посада; если бы здесь была не Россия, сюда бы ездили, ходили пешком...

9/22 июня. Прекрасная прогулка на велосипедах на монастырскую дачу Тарбеево, теперь, как водится, отобранную, и купание в озере...

18 июня/1 июля. ...Благодушествою в Сергиеве; сейчас только пришел с купанья, которое нашел в ½ часа ходьбы, в речке Торгоше; сегодня природа благоухает и сияет; и даже в этой гнусной северной природишке чувствуется своя красота...

23 июня/6 июля. Сергиево. После 3 душных и тревожных дней в Москве опять здешний мир и благодать. По приезде, после душного вагона и еще более душной московской духоты, я даже ходил вечером купаться; а совсем вечером мы вместе с Ниной немного прогулялись, погружаясь в настоящую ночную прохладу...

23 июля/5 августа. Еще один спокойный день; отличная погода, прогулка с Ниной... Сегодня осмотр Лавры: ходили по стенам и лазили на чердак и на хоры Успенского собора под предводительством П.Н. Каптерева. Надо пользоваться каждым случаем, чтобы осмотреть как можно больше; всякая такая экскурсия есть в сущности маленькое путешествие; не имея возможности уехать далеко, надо изучать то, что близко и что не будет времени смотреть позднее.

30 июля/12 августа. Два дня подряд прогулки в лесах за грибами; одна длилась 4 часа, другая 7. Еще раз пришлось убедиться, какие дивные окрестности вокруг Посада; какое раздолье, какое богатство леса, какой простор для деятельности человека, какие прочные остатки первобытных лесов, в которых когда-то укрылся Сергей. Ничто так живительно не действует, как природа; уйдешь в лес – и забудешь о большевиках...

13/26 августа. ...Прогулка за грибами для отвода от мрачных мыслей; ходили 7 1/2 часов. Я принес некоторое количество грибной пищи.

15/28 августа. ... Мы не выдержим новой зимы при условиях еще более ужасных, чем прошлая зима. Не клеится и устройство квартиры здесь, в Посаде, а между тем, необходимо сохранить здесь уголок; здесь все-таки легче будет обеспечить себе **тепло и сытость**.

2/15 сентября. Посещение Лаврской библиотеки, помещающейся над трапезной; там же находится и старый архив, в котором великое богатство неиспользованного материала по монастырскому хозяйству и землевладению XVI–XVII веков; весь архив в полном порядке, благодаря труду никому неизвестного монаха-библиотекаря отца Алексея. Вот бы где заняться, если бы только явилась возможность дать волю моим проектам об исследовании XVI века. Завтра опять в проклятую Москву! Не хочется!...

7/20 сентября. Сергиев Посад после четырех дней в Москве... Я вернулся сюда с вечерним поездом; что за ужас эта тьма на железных дорогах! Паровоз идет при одном освещенном фонаре, вместо 3; на каждой станции по одному фонарю на всю территорию станции; в вагонах абсолютная тьма, так что можно убить человека – и этого не заметишь...

1/14 октября. На днях обрисовалось здесь новое большое дело: Румянцевский Музей должен взять под свое покровительство библиотеку Духовной Академии. Это надо сделать во имя будущего...

5/18 октября. ... В Сергиев Посад мы приехали опять, чтобы менять разные вещи...

13/26 октября. ...Утром ездил смотреть Вифанскую библиотеку – хорошее собрание до 10000 томов, в основе которого лежат библиотеки Платона, Филарета и Макария. Видел разрушенную церковь Вифанской семинарии – большая и грязная зала и в ней солея, которая служит или может служить эстрадой.

14/27 октября. ...Приехал из Сергиева в обстановке, в какой я никогда еще не ездил. Поезд набит в 5 раз против нормы. Я только в половине пути

смог войти в вагон. Все пассажиры везли мешки с картошкой... Настроение добродушное, но чувствуется озлобление и утомление...

21 и 22 [ноября] я провел в Сергиевом Посаде и, несмотря на тамошние передраги, я, как всегда, чувствовал там какое-то душевное облегчение. Мои подопечные библиотеки я нашел в порядке. Уладилось и дело Лавры: ее восстановили, но только с 43 монахами в качестве сторожей. По словам председателя Комиссии охраны, гр. Ю.А.Олсуфьева, это – лучшие монахи. Если это так, то Лавра ничего не проиграла. Очень характерно, что за всеми распоряжениями идут к Олсуфьеву: я сам был свидетелем, как его спрашивали, что делать с церковным вином, когда отпирать Троицкий собор и т.п. Он произвел на меня впечатление истинного наместника Лавры. Между прочим, он рассказал мне, что во время переговоров с совдепом из уст председателя оного, чухонца из военных писарей, Ванланена (правильно – Ванханена – Т.С.) вылетела такая фраза: «Мы вашего дяденьку из гроба выковырнем».

4/17 декабря. Все эти дни я по-прежнему жил моим личным горем...(6/23 ноября скончалась жена Ю.В.Герье – Т.С.).

9/22 декабря. Ездил в Посад. Как всегда, эта поездка действует на меня успокоительно. Близость к природе, относительная тишина. Мучительным было только возвращение по железной дороге.

Год 1920.

13/26 апреля. Только что вернулся из поездки к Троице; там нехорошо. Комиссия, приехавшая «ликвидировать» Лавру, имеет во главе попарасстригу Галкина, который при старом режиме был членом Союза русского народа и очень желал быть архиереем, но не получил архиерейства. Вместе с местными большевиками ведет определенную линию на разграбление Лавры, и будет чудом, если им этого не удастся. Все это невольно чувствуется, когда там находишься, и тяжелое чувство передается, и им заражаешься.

2 июня. ... Сегодня все утро в делах, главным образом в связи с вопросом о передаче Лаврской библиотеки в состав нашего Румянцевского

“филиала”. Лавра закрытая и поруганная, производит тяжелое и грустное впечатление, У соборов, которые были распечатаны только на Троицын день, стоят хулиганы с ружьями и стерегут печати. В часы служб на Троицу производилась продажа антирелигиозной и антицерковной литературы...

21 мая/3 июня. ...В Духов день в Сергиевом Посаде было возмущение, когда хотели запечатывать вновь собор. Бабы ревели. Некоторые придают этому значение, как симптому. Я думаю, что эти мелочи большевикам вреда не принесут.

29 июня/12 июля. Петров день, который, чтоб не сделать будним, я употребил на путешествие к Троице. Там подготовил я дело принятия Лаврской библиотеки, с оставлением при ней иеромонаха Алексея и С.П. Мансурова. Нельзя было подписать акта, потому что Комиссия по распределению Лаврских помещений еще не закончила свои занятия и не передала библиотеки в отдел по делам музеев, который в свою очередь, должен был передать ее нам. Какова бюрократическая волокита. По поводу библиотеки я имел счастье познакомиться сегодня с товарищем М.Т. Смирновым, председателем исполкома Сергиевского совдепа (Боже, что за титул!). Я увидел перед собой довольно приличного и любезного человека, но определенно тип ограниченного и глупого человека из народных учителей, верующего в коммунизм и большевизм и к тому же, по слухам, честного. Несомненно, это один из самых вредных типов, господствующих в наше время. Однако для данного времени договориться с ним нам было легко.

31 июля/13 августа. Ездил в Сергиево, готовил принятие Лаврской библиотеки. Видел прелестную картину – вся площадь перед Лаврой, за исключением гостиницы, а теперь совдепов, выжжена, рухнула также угловая Пятницкая башня и Святые ворота. Пожар начался оттого, что посадские товарищи, раскрыв товары, подлежавшие раздаче, подожгли ряды, чтобы скрыть следы. Это было продолжением того пожара, который был на

Страстной неделе 1919 года. В лавре все грустно и скучно, и трава забвения затягивает ее внутри.

13/26 августа. Ездил в Сергиев Посад и принял окончательно Лаврскую библиотеку в ведение Музея. Ходил с визитом к наместнику, но его не застал; он уехал в Москву. В связи с процессом приемки случился маленький эпизод, который, если посмотреть на него с мистической точки зрения, может показаться имеющим значение. Приняв библиотеку, мы, то есть Румянцевский музей и я, его представитель, начали новое дело, а служащие в библиотеке вступили в новую полосу. Я попросил библиотекаря о. Алексия отслужить молебен, который он и отслужил для нас двоих – Мансурова и меня. Молебен был, конечно, преподобному Сергию. Затем я пошел к о. Диомиду, ризничему, с которым должен был просмотреть рукописи, находящиеся в ризнице. О. Диомид оказался в Троицком соборе, который закрыт, и куда пускают только по особым пропускам. Спросив у часового, там ли о. Диомид, и получив утвердительный ответ, я спросил, можем ли мы с Мансуровым пройти. Часовой и разводящие мальчишки, сказали – да; мы вошли в притвор и, постучав в железные двери, запертые изнутри, увидели, что в маленькое окошечко выглянуло совершенно ошеломленное лицо о. Диомида, который спросил нас в изумлении: “Как вас сюда пустили? И меня ведь только по особым пропускам пускают!” Потом, обращаясь к нам, сказал: “Хотите приложиться?” Что мы и сделали. 12/25 августа 1920 года мощи преподобного Сергия были в целости и сохранности. Таким образом, вышло, что преподобный Сергий как бы отозвался на наш молебен и, дав возможность войти в собор, благословил Румянцевский музей блюсти его книжное достояние.

4/17 октября. Съездил к Троице обыденкой; тускло и скучно там; нет более того, что мне было дорого там; нет и самой Лавры. С деловой точки зрения все благополучно.

3/16 ноября. Ездил к Троице. Спасение библиотек есть все-таки род какой-то сознательной работы, и потому что-то там устраивать доставляет какое-то удовольствие. По крайней мере, я чувствовал это вчера.

26 апреля. Поездка в Троицу. По дороге узнал, что Хотьков, как монастырь, также не существует. По-видимому, объявлен поход на церковь с особенной силой. В Троице все тихо. Езда в поезде отвратительна».

Из воспоминаний княгини Н.В. Урусовой

Летом 1918 года в Ярославле произошел мятеж. Участвовали в нем в основном юноши, гимназисты, поддавшиеся на провокацию некоего полковника Перхурова, уверявшего молодежь, что восстание поддержат англичане. Расправа была страшной. Княгиня Наталья Владимировна Урусова (1874–1963) в своих воспоминаниях описывает, как большевики обстреливали город из артиллерийских орудий, как рушились церкви и дома, как сгорел знаменитый Ярославский лицей с его всемирно известной библиотекой. Всю молодежь и вообще мужчин хватили на улицах, разыскивали по подвалам и чердакам, ставили на высоком берегу Волги с завязанными назад руками и сзади расстреливали, так что трупы падали в реку.

Н.В. Урусовой надо было спасти своих детей. «Я избрала – писала она, – Троице-Сергиеву лавру с надеждой, что это будет лучшим местом их спасения». С невероятными трудностями ей удалось привезти всех детей, горничную, которая ни за что не хотела расставаться с нею, слепую старушку и корову.

Петр Дмитриевич Урусов, глава семьи, приехал в Сергиев Посад немного раньше, но квартиры найти не смог. Недели две прожили на балконе брошенной дачи, где было грязно и сыро. Потом на время взял их к себе Анатолий Александров (1861–1930), поэт и журналист, знавший покойного отца Урусовой – Владимира Константиновича Истомина. Семья оказалась в

крайне бедственном положении: не было теплых вещей – все сгорело в Ярославле. Муж Урусовой, не выдержав такой обстановки, уехал в Москву и поселился у брата. Она осталась с детьми. Жить было совершенно нечем. Она поехала обратно в Ярославль, чтобы привезти швейную машинку, которую она отдала временно соседке. Потому машинка и уцелела.

А в отсутствие Урусовой из ЧК пришла повестка одному из ее сыновей. Его очень грубо допрашивали, выясняя, принимали ли члены семьи участие в восстании, и по какому праву приехали в Сергиев Посад, не взяв разрешения ярославских властей. Потом отпустили, приказав, чтобы мать, как приедет, явилась в Исполком.

Урусова вспоминала: «Пришлось идти. Исполнительный комитет занимал здание старой монастырской гостиницы. Ужасно было переступить этот, еще так недавно мирный монастырский приют. В голове моей промелькнуло одно из лучших воспоминаний жизни, когда во времена раннего детства, в возрасте восьми–десяти лет, мать моя, любившая говеть в Лавре, брала мою сестру, годом старше меня, и меня с собой. Вспомнился мне безупречно чистый номер гостиницы, отец гостинник, старый почтенный монах, послушники, приносившие чай, и не в чайнике или кастрюльке, как теперь, а ставили на стол шипящий, блестящий как золото медный самовар. Вспомнилась ночь, когда все казалось святым, и монахи, и самовар, и лампадки, и даже тюлевые занавески на окнах. Вспомнилось то таинственное и важное ожидание исповеди в полуосвященном соборе у раки Преподобного Сергия после всенощной, ожидание в легком сне первого удара колокола к ранней обедне, стук монаха в дверь, чтобы разбудить нас, а мы уже давно не спали и надевали, с особым сознанием благоговения, новенькие платица. Небо еще звездное, мирная тишина, нарушаемая только мерными ударами лаврского колокола. Все это непередаваемо словами. Детская душа моя вся была поглощена сознанием страха и любви в ожидании Святого Приобщения. Затем вспомнились горячие просфорки, игрушки, купленные под воротами Лавры, крестики, образки, пояпочки с молитвами,

да много счастливого и неповторяемого. Все это, как луч света, мгновенно промелькнуло в моей голове; и вот я вхожу.

Мечты о прошедшем на минуту осветили мрак страшной действительности, представшей глазам; ноги мои подкашивались, я сама не узнала своего голоса, когда спросила, куда мне идти. Тот, кто не видел таких картин, может и не поверить.

С первого шага охватило сознание присутствия нечистого духа, да, именно нечистого во всех смыслах. Такой грязи, что была перед глазами, никогда не забуду. Сколько было пережито за 25 лет, если Господь приведет, постараюсь все описать: и условия ужасные жизни, и голод, и холод, и страх, но в то время это было внове и казалось столь невероятным, что думалось, не во сне ли все это, или я лишилась рассудка.

Весь пол заплеван, покрыт грязными бумажками, шелухой от подсолнухов и мало этого, приходилось выбирать места, чтобы не запачкать обуви. В номере, куда меня провели, было то же самое. Встретили меня несколько человек, если их так можно было назвать. Комиссаром Чека был здоровый краснощекий матрос в белой грязной матросской рубашке, с расстегнутым воротом и большим красным бантом на плече. Рукава у всех засучены. И все страшные, словно дикие звери; нет, звери, право, и те лучше. Я больше всего испугалась матроса, но, к удивлению, в нем одном проявилось какое-то чувство, похожее на жалость ко мне. Много, очень много нужно было силы воли, чтобы не выдать своего страха перед ними и казаться спокойной, но ведь судьба моих, не только старших двух сыновей, но и остальных детей зависела от воли и была в руках этих людей.

Меня спросили, почему я уехала из Ярославля, но как спросили! Я ответила, что все потеряла во время пожаров и, не имея средств к дальнейшему существованию, решила, что в небольшом Посаде я легче чем-нибудь заработаю и что буду близко от мужа и родственников, живущих в Москве. На это в ответ несколько голосов закричало с угрозой: “Немедленно убирайтесь со всеми Вашими детьми и кто еще при Вас, обратно в

Ярославль!” Пришлось просить разрешения остаться ввиду безвыходности положения и невозможности оплатить обратный переезд и нанять в сгоревшем городе помещение. По адресу моему была применена самая невозможная брань, требования и угрозы, когда вдруг матрос заявил: ”Бросьте, товарищи, чего ее мучить, может, она и не сделала ничего, пусть ее семья остается пока здесь, – и, обратившись ко мне, сказал: “Если Вы докажете нам бумагой от властей Ярославля, что Ваши сыновья не участвовали в восстании, то, может, я Вам разрешу поселиться здесь, в Посаде”. Господь, как всегда Милосердный, осенил меня мыслью, И я ответила: “В Ярославле никому не известно, где были в это время мои сыновья. Как Вам объяснил сын мой Николай, они были в Саратове, куда ездили за мукой, и ничего о восстании не знали. Прописаны они были в волостном правлении, которому подлежит дача, где мы жили, и дать сведения о них может только волостной старшина”».

Урусова не обманывала: сыновья действительно ездили за мукой, остальные члены семьи жили на чьей-то даче, так как один комиссар еще до восстания потребовал, чтобы Урусовы в трехдневный срок освободили свою квартиру. Только она понятия не имела ни о каком волостном старшине. И вот снова ей пришлось отправиться в Ярославль, добывать необходимые документы. А в это время ее сын Николай решил, во что бы то ни стало, уехать на юг, чтобы вступить в Белую Армию. В Исполкоме ей предложили подписать бумагу, что если один из ее сыновей уйдет к белым, ее тут же расстреляют. Она подписала. А через час проводила сына на поезд. Он отправился в Белую Армию. Вскоре уехал и другой сын – Сергей.

Урусова осталась с пятерыми детьми в возрасте от 17 до 4-х лет. Пришлось изыскивать всякие способы существования. Жили в подвальном этаже, сыром и полутемном. Как ни старалась она прокормить корову, это оказалось невозможным. Пришлось корову продать. А деньги быстро обесценились. Старшая, семнадцатилетняя Ирина была во всем помощницей матери. Но простудилась в морозный день, когда ходила за водой на колодец

в одной вязаной кофте. Пальто не было – все сгорело в Ярославле, и купить было не на что. Ирина заболела воспалением легких и никогда уже не оправилась – при вечном недоедании развился туберкулез.

Наталья Владимировна, чтобы как-то прокормить детей, стала шить теплую обувь вроде ботишков из большого ковра, который ей отдала одна ее московская знакомая. Ботинки Урусова ездила менять на сушеную картошку и коренья. Поезда тогда ходили только товарные и без расписания. Каждая поездка была сопряжена с большим риском. От станции надо было еще идти несколько верст до деревни, где жил бывший садовник Урусовых, старичок, помогавший ей продавать обувь. Однажды в метель, сбившись с дороги, она едва не погибла. Без сил упала на снег и не могла подняться. Вдруг – удар церковного колокола. Оказалось, что рядом церковная сторожка. Сторож, подумавший, что кто-то мог заблудиться в такую непогоду и замерзнуть, стал ударять в колокол. Это было спасением.

Пропитание было самое скудное. Дети голодные, раздетые. А тут еще девочки обовшивели, и не было гребешка. Не было и денег, чтобы его купить, да, если бы и были, достать негде. Надо было обстричь детей наголо, а они плакали.

И вот в четверг Страстной недели на Урусову вдруг напало неотступное желание вечером пойти в Черниговский скит на чтение 12 Евангелий. Идти надо было версты четыре, лесом. И она не взяла с собой детей, не поддавалась никаким их просьбам и слезам. Отправила детей в Троицкий собор.

Она вспоминала: «Меня всегда влекло в эту скитскую церковь. Чтобы взойти в нее, нужно было спуститься 12 ступеней вниз, под землю. Церковь маленькая, без дневного света, освещенная массой разноцветных дорогих лампад и громадным количеством восковых, всех размеров свечей. Черниговская чудотворная икона Матери Божьей очень почитаема не только в Московском округе, но и во всей России.

В церкви через крошечные отверстия, в которые нужно согнувшись проходить, шли подземные длинные ходы. Два раза в жизни решалась я посетить такие святыи таинственные пещеры, бывшие местом спасения древних монахов. Обычно впереди шел с фонарем провожатый монах. Холод охватывал тело от сырости, текущей по стенам тоненькими струйками, а душу охватывал непередаваемый ужас и благоговейный почтительный страх, когда монах останавливался перед вырытыми углублениями в этих стенах и объяснял, что тут проводил жизнь и умер непогребенным тот или иной отшельник...

В этот вечер я, войдя в церковь, встала непосредственно близко, перед самой иконой Божьей Матери. Народу было полно. Трогательное чтение 12-ти Евангелий, строгие лица монахов, поющих стройно печальные песнопения, все это сливалось с моими личными переживаниями и горестями. Меня никто, ни один человек, не знал, и о том, что я должна была огорчить в тот день дочерей, объяснив им необходимость обрить волосы, никто не мог знать, кроме Матери Божьей, которой я, в слезах и просьбе о помощи, изложила свою печаль.

Кончилось чтение, народ прикладывался и сразу уходил, так как было 12 часов ночи. Я подошла последней. Служба закончилась, в церкви полутемно, так как погасили почти все свечи и большую часть лампад, оставив только неугасимые. Я приложилась и чувствую, что меня осторожно берет кто-то за плечо. Обернулась, вижу старенький монах, но не скитский, так как на нем был серый стеганый подрясник, подвязанный ремешком, и темно-синяя скуфейка. Он, приветливо улыбаясь, протягивает мне ладонь со словами: "Вам не надо?" На руке у него два частых гребешка! Я, как говорится, остолбенела и спросила, не зная, что говорю: "Откуда у Вас?" А он отвечает: "А я продавал, вот два остались, может, Вам нужно?" Я отвечаю: "Да, но у меня денег нет". А он говорит: "Мне не надо денег". Я взяла один и не успела его хорошенько поблагодарить, как он быстро вышел. Я пошла вслед за ним, но его нигде не было. Я принесла домой пораженным

своим девочкам частый гребешок, и печаль их сменилась необъяснимой радостью».

Так как Петр Дмитриевич Урусов был членом Всероссийского Церковного собора от Ярославской губернии, Наталья Владимировна побывала на Соборе. Безрадостное впечатление оставило у нее это собрание, большинство участников которого, видимо, не предполагали, какие испытания ждут Церковь в самом близком будущем, и обсуждали в основном вопросы повышения материального благосостояния Церкви, решив не касаться политики. Вот одна из картин, увиденных Урусовой: «Мне посчастливилось быть и видеть посвящение Патриарха в Успенском соборе в Кремле. Пропуск был по билетам, и в то время можно было еще через связи достать это право. Большевики еще не вполне овладели властью. С вечера стояли мы (человек триста) у закрытых Боровицких ворот. Ночь была холодная. За стенами Кремля все время жгли красные бенгальские огни и стреляли из винтовок. Картина была мрачная и жуткая, три конных милиционера забавлялись тем, что вплотную давили нас крупами лошадей.

Раздались голоса: “Пропустите Митрополита Владимира, пропустите Митрополита!” Он шел величественно, спокойно, в белом клобуке, опираясь на посох. Милиционеры со смехом толкали его лошадьми. Кто видел когда-нибудь этого смиренного строгого аскета, монаха, который своей святой и мудрой жизнью приобрел почитание всех истинно верующих, тот в те минуты с радостью упал бы перед ним на колени, но и этого сделать было немислимо. Вскоре он был расстрелян. Ему открыли калитку в больших чугунных воротах, но пройти в нее было нелегко, как и всем нам позднее, когда и для нас открыли вход. Снизу она была загорожена досками, так что приходилось очень высоко поднимать ногу, чтоб перешагнуть. Когда нас впустили, то от самых ворот вплоть до собора нужно было проходить при красном освещении между двумя рядами солдат с направленными на проходящих ружьями. Чего они боялись? Непонятно! Когда я вошла в собор, то увидела стоящую сзади всех Великую Княгиню Елизавету Федоровну. Я

хотела подойти, но она, уловив мое движение, знаком пальца указала мне этого не делать. Я поняла, что она не хотела быть узнанной, так как и одета была не в форме своей общины. Керенский был в соборе, и она мне после сказала: “Я наблюдала за ним, он не мог выносить Божественной службы, его просто корчило”.

При посвящении Патриарх был белее снега, с опавшим и исхудавшим за несколько часов лицом. Мне пришлось видеться с ним не один раз и после посвящения. Он стал спокойнее, как и ранее, отличался в беседах добродушным юмором. Ко мне всегда был крайне приветлив, так как давно знал меня и посещал еще задолго до революции. Принимал сердечное участие в моем трудном материальном положении, выручал денежной помощью, очень деликатно заставляя меня ее взять».

А жизнь в Посаде становилась все труднее и труднее. Летом с детьми Урусова ходила ежедневно в лес за грибами. Набирали много, солили, сушили и зимой меняли на что-нибудь съестное. Но это были крохи. «Нужно было ездить по деревням и менять свои работы. Когда же не осталось материала на теплую обувь, я решила лишиться своего одеяла. Скроила из него двадцать детских чепчиков, сшила и надеялась на что-нибудь обменять, когда неожиданно ГПУ пришло с обыском. Чепчики были сложены по нескольку на столе. “Это что такое? Тайное производство у Вас?” – грозно закричал на меня производивший обыск. Я объяснила, что должна была пожертвовать одеялом ради голодных детей. На короткое распоряжение – “забрать” красноармеец из ГПУ взял и унес мои чепчики. Через день я увидела их на приютских детях в городском саду.

Езда по дорогам была кошмарная. Люди становились зверями в борьбе за место в товарном нетопленном вагоне, куда набивались до ста человек, с мешками, корзинами и сумками. На моих глазах был задавлен насмерть старик. Он первый пытался влезть в вагон, а влезать было очень высоко. На него сзади навалилась толпа, не дав ему влезть и подняться. Он до половины

был лежа на животе в вагоне, а ноги висели наружу. По нему с дикой бранью и криком стали влезать люди.

Я не рискнула в этот раз влезать, хотя бы и сбоку от задавленного, так ужасно это было, но не один раз подвергалась опасности быть задавленной.

Довезешь ли до дому то, что с невероятным трудом удастся достать (большей частью в камешки замороженную картошку) или не довезешь, было делом счастливого случая. Не один раз по дороге налетали отряды, и происходил невообразимый ужас. Из вагонов выбрасывали всё, все мешки, обыскивали людей, сопротивляться никому не приходило в голову, а если кто и решался, то немедленно был бы схвачен, выброшен из вагона и исчезал навеки. Особенно опасен всегда был район г. Александрова, потомки опричников, нынешние коммунисты, отличались исключительной жестокостью.

Я уже не ездила к садовнику Николаю, так как и в деревне, где было производство сушки овощей, все стало отниматься, крестьяне богатых сел Ростовского уезда сами голодали. Если удавалось получить от добрых людей в помощь какой-нибудь материал, я шила ночные туфли на веревочной подошве, а затем сдавала их в комиссионный магазин в Москве, давали за них там бесценок. Перед Рождеством 1920 года я отдала туда три пары. Обычно по вечерам все пять детей сидели, прижавшись ко мне, и я что-нибудь рассказывала, чтобы отвлечь от голода. На этот раз мы все придумывали, как отметим Рождество, если продается моя обувь. По их просьбе решено было, что куплю им по 1 фунту ржаного хлеба на каждого. При одной мысли об этой возможности у всех у них глазки блестели. Я поехала 23-го в Москву. Пришлось стоять или, вернее, висеть на ступеньках вагона, сдавленной почти до невозможности дыхания, причем вагон (пассажирский) был близко от паровоза, и пассажиров обсыпало градом искр, так что приходилось гасить их друг на друге, рискуя каждую минуту загореться.

Сильно билось сердце, когда я отворила дверь в магазин. Когда мне объявили, что ни одна пара не продана, мне сделалось дурно. Нужда была так безысходна, что пришлось согласиться отпустить 14-летнюю Таню и 10-летнего Петю попробовать продавать оладьи в Москве. Не помню уж, как добыла, или кто-нибудь подарил немного муки, только я испекла оладьи. Горько было мне, ведь это была роскошь невозможная для моих детей в то время, каждый из них с радостью съел бы все их, а мне пришлось только подразнить их, дав по одной.

Брались они весело и бесстрашно за эту поездку, и полны были надеждой зарабатывать на еду. Страшная езда по железной дороге, о которой я писала, и мысль о том, что мои дети стоят где-то на улице, предлагают оладьи, меня совсем убивала, и я решила этим больше не пытаться их прокормить. Вернулись они поздно вечером, я терзалась мукой осуждения себя, представляя всякие ужасы. При обуявшей городское простонародье разнузданности нравов, хорошенькая девочка могла подвергнуться всякому нахальству. Вернулись голодные, измученные. Продавали на бульваре. Казалось бы, сердце должно было сжаться при виде этих двух детей, но толпа проходила равнодушно, или даже насмехаясь. Беспризорные же малолетние преступники, которые сразу же стали хозяевами положения на улицах и базарах, старались просто вырвать корзинку, или стащить оладью; милиция грубо грозила забрать их (детей), если они не уйдут. Продали в полный убыток, дождались поезда и вернулись домой. Поели овсяного киселя и стали со смехом рассказывать обо всех событиях этого скорбного дня».

Была Урусова и свидетельницей вскрытия мощей преподобного Сергия: «Назначено было вскрытие мощей Преподобного. С утра на площади перед оградой Лавры, где покоились мощи, стал в массе собираться народ. Так как церковью в Посаде очень было много, то каждый приход был один со своим духовенством. Ворота были заперты, из всех бойниц в стене выглядывали пулеметы. День был холодный, но мысли уйти не было ни у

меня, ни у детей, даже у маленького пятилетнего Андрюши, совсем сознательно относившегося к происходившему. Трогательно было! Поочередно весь день все духовенство служило молебны, а в промежутках общим хором пели: “Да воскреснет Бог”.

Молитвы, просьбы, надежды с простираем рук, рыдания и истерические вопли не могли сдержать своего отчаяния от мысли расстаться с мощами такого чтимого и любимого Чудотворца, и сознание того, что за стеной темные силы дерзко касаются святыни, – все это производило неизгладимое, потрясающее впечатление. Простояли 8 часов. Под вечер открылись ворота, и из них вышел ничтожный еврей. Он встал на приготовленную бочку. Все затихли. “Идите – смотрите, чему вы поклонялись – тряпкам и костям” С этими словами он ушел, а весь народ бросился через ворота в Троицкий собор. Мои дети стремились тоже, но я не разрешила, несмотря на их просьбы, доказывая им, что мощи 500 лет были под спудом и не открывались для людских глаз, и кто же разрешает? Власть сатаны! С этим доводом они согласились. На другой день ранним утром я пошла в Черниговский скит, чтоб спросить у иеромонаха отца Порфирия, почтенного и считавшегося прозорливым и святой жизни старцем. Смотрю, а он быстро идет мне навстречу. Я спросила его о том, можно ли было идти и видеть мощи, а он говорит: “Идем, идем, поклонимся Преподобному, пока можно. Я сам иду к Нему”. Я зашла за детьми, и мы пошли.

Вспоминать страшно, ведь это были еще первые проявления бесовских кощунств и хулений в Божьих храмах. Смех, приплясыванье, песни, наполнявших храм комсомольцев и молодежи из союза безбожников и тут же заглушенные рыдания верующих, прикладывающихся к раке. Все было разорено, но как было прежде, так, несмотря на все творимые безобразия, у мощей стоял старый монах и читал вслух. В открытом, почернелом гробу лежал череп с сохранившимися рыжеватыми волосами и целыми зубами обеих челюстей. Кости разбросаны, как попало, в гробу. Для тех, кто ожидал увидеть нетленное тело, это был разочарованием, но для того, кто понимает и

знает, что такое мощи, это не играло роли, и каждая отдельная косточка была живой Святыней. Присутствующие при вскрытии монахи утверждали, что когда вскрыли крышку гроба, то Преподобный в первый момент был весь сохранившийся целиком, но от прикосновения воздуха сразу рассыпался. Но удивительно – остатки мантии еще сохранились и лежали около мощей, а ведь прошло 500 лет.

На другой день граф Олсуфьев и другие выхлопотали у властей разрешение пригласить врача-анатома, который сложил в природном порядке скелет, и покрыли стеклянной крышкой, так как некоторые брали кусочки к себе домой как великую святыню».

Урусова, видя, что жизнь в Сергиевом Посаде становится все трудней, решила разыскать мужа, который уехал из Москвы. Оказалось, что он получил место на железной дороге в Донской области. Она несколько раз ездила в Москву советоваться со старцем отцом Алексеем Мечёвым. Он посоветовал дождаться от мужа ответа о том, что подыскал квартиру. Но дети были совсем истощены, работы не было. Наконец, старец, видя положение семьи, благословил отъезд. Они поехали на юг. Представлялось впереди что-то светлое и спокойное. Но не такие были времена, чтобы надежды могли оправдаться. Впереди была долгая жизнь. Ее ждали болезни, когда врачи не давали ни одного шанса на выздоровление, новые мытарства, скитания, встречи с праведниками, святыми мучениками и просто добрыми людьми, и встречи с негодьями и палачами. Героические усилия прилагала она, чтобы спасти детей. Но в 1930-м умерла старшая дочь Ирина из-за не сделанной своевременно операции, оставив шестилетнюю дочку. И тогда же пришло известие о гибели в результате несчастного случая во Франции сына Николая. Младший сын Андрей испытал массу несправедливостей, мучений, арестов. Не раз был арестован и его брат Петр. Оба они в 1937 году получили приговоры: 10 лет без права переписки. Бедная мать не знала, что это означало. В 1938 Петр Петрович Урусов был расстрелян вместе с женой Ольгой Владимировной, урожденной княжной Голицыной. Дочь Н.В.

Урусовой Татьяна вышла замуж за Константина Александровича Ершова, инженера, работавшего на Центральном телеграфе. В 1938 году его арестовали и расстреляли на Бутовском полигоне. Татьяна Петровна осталась с двумя детьми без средств к существованию. На работу жену «врага народа» не брали. С большим трудом удалось ей через некоторое время устроиться в какую-то контору. «В 1941 году, когда немцы были под Москвой, мама, отправив нас в эвакуацию, добровольно ушла в народное ополчение санитаркой. В жестоком бою под Великими Луками вынесла с поля битвы 17 раненых, а потом сама получила тяжелое ранение и скончалась в госпитале», – так написала ее дочь Татьяна Константиновна Павлова в приложении к воспоминаниям своей бабушки Н.В.Урусовой.

А сама Наталья Владимировна во время войны оказалась в Можайске. «Когда немцы заняли Бородино, – писала она, – то было приказано уходить в тыл. Я стояла в раздумье на крыльце дома. По городу масса арестов, и всех, кого подозревали в сочувствии немцам, тут же, отведя немного на окраину города, расстреливали. Красная армия отступала в панике. Пробегая мимо меня, остановился на мгновение незнакомый мне человек и быстро сказал: “Гражданка Урусова, если имеете возможность, то немедленно скройтесь. Вы в списке приговоренных, и Вас сейчас арестуют”. Стоявшая рядом со мной соседка сказала мне: “Знаете ли кто это? Это ГПУ, я его лично знаю”...

При отступлении немцы увозили беженцев, я была среди них, я оставляла за собой все дорогое на земле».

Урусова не знала о судьбе арестованных сыновей и двух арестованных зятьев, не знала о судьбе младших дочерей и судьбе внуков. Но и они не знали, что она жива. Внучка ее Нина получила письмо от бабушкиной соседки по Можайску, что Н.В. Урусова погибла под бомбежкой. И в анкетах внуки писали, что родственников за границей не имеют. Только через 50 лет узнали, что их бабушка живет в Америке, в старческом доме при храме преподобного Серафима Саровского в поселке Си Клиф – предместье Нью-Йорка. В 1953 году она закончила работу над своими воспоминаниями, дав

им название: «Материнский плач Святой Руси». Всю жизнь она писала стихи.

*Их было семь! Я всех любила;
Всех своей грудью я вскормила;
Для них жила, за них молилась,
И вот со всеми распростилась.
Старушкой божьей одинокой,
В печали, горести глубокой
Я доживаю жизни путь,
Чтобы у Бога отдохнуть!
И кто-то мне глаза закроет?
Кто перед смертью успокоит?
Кто крест поставит надо мной?
Не дети над своей родной.
И травку на моей могиле
Никто слезой не оросит;
И только утренней порою
Роса, как слезки, заблестит!*

Кончаю дни

*Кончаю дни земных скитаний,
И в неизвестность отхожу.
Слова какие при прощанье
Последним вздохом я скажу?
Все радости воспоминаний,
И горести минувших лет,
В миг молнией перед очами
Блеснут... и мира канет свет!
Но не одно: два слова Богу
Должна суметь произнести:
«Благодарю», всей силой духа,
И с упованием: «Прости!»*

Урусова тихо отошла в вечность на 90-м году жизни в октябре 1963 года. Ее воспоминания – воспоминания настоящей аристократки, не чуравшейся никакой работы, делавшей все, чтобы спасти детей в совершенно исключительных по тяжести условиях, выпавших на ее долю.

ГОДЫ НЭПа

Годы НЭПа в Сергиевом Посаде (Сергиеве, как город стал называться с 1919 года) описаны С.П. Раевским (1907–2004), семья которого приехала в Сергиев Посад в 1922 году. Раевские поселились у родственников – Хвостовых, имевших собственный дом на улице, называвшейся Белой, потом Красной, а ныне это улица Шлякова. Вот отрывки из его воспоминаний: «Моя мать под старость редко вспоминала о прошлом. Когда кто-нибудь из близких заговаривал о былом, она обычно говорила так: ”Зачем вспоминать? Это перевернутая страница книги”. Но двадцатые годы она не забывала и при случае говорила: “Это было в блаженные времена НЭПа”». 1923 год. «Буря революции успокоилась. Гражданская война и продовольственные карточки остались в воспоминаниях. Прочно утвердилась новая экономическая политика. Стало заметно ощущаться расслоение общества на богатых и бедных, служащих и безработных, нуждающихся и просто бедных. Но вместе с этим казалось, что возвращается нарушенное революцией спокойствие, позволяющее теперь каждому человеку стать на ноги, задуматься и осознать, что его ожидает впереди. Вновь принятые законы поощряли людей к любому предпринимательству, будь то индивидуальный кустарный промысел или торговое и промышленное предпринимательство.

В Сергиеве открылось много частных магазинов, появилось “Единое потребительское общество”, потом названное “Смычка”. Все вступившие в это общество получали членские книжки и могли по ним покупать продукты со скидкой. Расквартированная в Сергиеве Военная электротехническая академия имела свой кооператив и прекрасный универмаг. Как грибы росли маленькие лавчонки в виде киосков, где продавались обувь, галантерея, сладости и всякая всячина. На рынке с возов продавались дрова, сено, уголь, овощи. На лотках – масло, молоко, сметана, мясо, ткани, кожа для обуви. Чего только не было в то время в сравнительно небольшом городе Сергиеве!

По вновь принятому закону многие дома, реквизированные в начале революции, возвратили бывшим владельцам, в том числе купцам, открывшим вновь свои магазины и лавки. Однако Хвостовым их дом не вернули, а предложили взять в аренду с выплатой государству незначительной суммы, которую можно было вносить в рассрочку. На каждом доме появилась вывеска, на которой указывались номер дома и владелец. На воротах нашего дома надпись гласила: “Красная ул., 7, арендатор Хвостова”. Выгоды от аренды не было никакой, так как жильцы платили мизерные суммы, которых не хватало даже на текущий ремонт. Тем не менее, Хвостовы решили пока держать аренду (авось когда-нибудь вернут в собственность). Как же мы тогда были наивны!

В начале 1923 года происходило непрерывное падение курса бумажных денег, на которых имелась надпись: “Обеспечивается всем достоянием республики”. Наш преподаватель политграмоты, разъясняя нам азы политической экономии, говорил, что “единица стоимости” в нашей стране теперь не “один рубль”, а “пуд муки”. Поэтому надпись фактически означает: ничем не обеспечены. И только после того, как рубль будет стабилизирован, мы сможем говорить о нем, как о “единице стоимости”.

Падение курса денег, исчисляющихся миллионами, а вскоре и миллиардами, создавало большие неудобства, так как цены на товары день ото дня возрастали, доходы населения отставали от роста цен. Вскоре государством были пущены в обращение червонцы, обеспеченные золотом, представлявшие собой твердую валюту. С появлением червонцев прекратился рост цен. Многие люди считали более удобным хранить деньги в червонцах и при надобности менять их на бумажные. Меняли прямо на рынке. Часто можно было слышать: “Кому червонец? Кому червонец?”. И тут же объявлялся покупатель, обычно из торговцев.

Изобилие товаров в магазинах и на рынке создалось такое, что не было надобности ежедневно ходить за покупками. Скоропортящиеся продукты хранили в погребах. Ежедневно приходилось покупать только хлеб, и эта

проблема решалась поочередной коллективной покупкой с последующей отдачей долга согласно курсу червонца. В Сергиеве же был домашний пекарь, у которого можно было брать хлеб в кредит с расчетом два раза в месяц. А когда в начале 1924 года появились серебряные рубли и мелочь, все проблемы с платежами решились сами собой.

Я, по праву старшего в семье, принялся за выполнение разных хозяйственных дел, в первую очередь, – за заготовку дров. Они продавались свободно на рынке. Помню цены за воз: сто и сто десять миллионов. Я старался покупать у одних и тех же продавцов-крестьян сразу по несколько возов, пока они не повышали цену. Для них такой порядок имел свой резон: вместо заезда на рынок, платы за место и поиска покупателя крестьянин напрямик приезжал с дровами к нам и тут же получал деньги.

Необходимо еще сказать о средствах существования многих людей. Моя мать получала небольшую пенсию за мужа, погибшего в борьбе с эпидемией тифа. Пенсии этой не хватало для самого скромного существования. Мама вместе с Е.С. Хвостовой делала кокошники для кукол по заказу какой-то артели. Одно время они еще пекли сладкие лепешки, которые покупал у нас торговец, имевший ларек на рынке. Но такие заработки не могли обеспечить существование семьи. У нас и у Хвостовых оставались кое-какие ценности: столовое серебро и мелкие драгоценности. Время от времени Катя Хвостова ездила в Москву продавать что-нибудь из них. Жили мы более чем скромно. Белые булки покупали только по воскресеньям и в праздники.

В двадцатые годы появились такие люди, как владелец карандашной фабрики Хаммер, который обогатился сам, но одновременно завалил магазины всей России своими великолепными карандашами. Выгода была двусторонняя. Другой пример. В Сергиеве на окраине жил сапожник Григорий Федорович Тузов. Человек он был незаметный, вроде Мартына Авдеевича из рассказа Л.Н. Толстого. С установлением НЭПа, когда появилась возможность свободно продавать кожу всех сортов, он стал по

заказу шить башмаки. Но как шил? Шил прекрасно, к заказчикам приходил на дом. Это по-теперешнему называется “сервис”, а в двадцатых годах это было самым обычным явлением. Выгода с обеих сторон.

Я привел два примера: фабриканта Хаммера и кустаря-одиночку сапожника Тузова. Между ними дистанция огромного размера, но суть одна: они действовали на основе взаимной выгоды между производителем и потребителем. В последующие годы эти законы рыночной экономики были утрачены.

Сейчас порой вспоминаются курьезные вещи. Когда появились в обращении серебряные деньги, одна знакомая с досадой говорила моей матери:

– Представьте себе, моему мужу вчера выдали жалованье – тридцать шесть рублей одними серебряными рублями, не нашлось в кассе трех червонцев. Куда теперь девать эти рубли?».

В школе в те годы сохранялось еще многое от прошлых порядков. Раевский учился в бывшей Сергиевпосадской мужской гимназии. Он вспоминал: «Несмотря на то, что прошло пять лет советской власти, обращение учителей к школьникам было как в прежних гимназиях: “господа”. Только один преподаватель политграмотности и политэкономии Михаил Михайлович Селиванов, прозванный “Миша в квадрате”, обращался к ученикам “товарищи”. Кроме Селиванова, было у нас еще девять преподавателей. Каждый из преподавателей имел свою индивидуальность, свою систему обучения, своеобразное отношение к ученикам. Например, предельная строгость отличала от других преподавателей Ивана Федоровича Богданова (заведующего и преподавателя математики) и абсолютная демократичность, вплоть до рукопожатия со всеми школьниками, даже младших классов, – Николая Викторовича Шевалдышева (нашего классного руководителя)».

Для старшего поколения верующих был крайне неудобен переход на новый календарь. «Школа, разумеется, обязана была неукоснительно

соблюдать принятый закон, – вспоминал Раевский, – и предстоящие праздники Рождества Христова были объявлены 25 и 26 декабря по новому стилю. Каникулы же заканчивались 6 января, так что в первый день Рождества по старому стилю надо было идти в школу.

Предстояло решить вопрос: идти ли 7 января в школу? Мама и двоюродная сестра Катя решительно заявили, что в первый день Рождества надо идти в церковь. За несколько дней до праздника я встретился с церковным старостой нашего прихода Иваном Тихоновичем Булановым, с сыном которого, Николаем, я учился в одном классе. Поздоровавшись, я спросил:

– Иван Тихонович! Коля седьмого пойдет в школу?

– Нет, не пойдет! – строго ответил Иван Тихонович.

– А почему?

– Потому что праздник!

Несколько человек поступили так, как того требовали их родители, и в первый день Рождества пошли в церковь, манкируя занятиями в школе. Но большая часть учеников нашей группы подчинились принятому закону. Помню, мы интересовались у родителей: чем вызвано такое “упрямство” Церкви – не подчиняться государственному закону? Нам объяснили, что церковные праздники тесно связаны с жизнью крестьян. Они определяют целый ряд рубежей в году, которые играют существенную роль в деревенской жизни. Например, каждый крестьянин знает, что дороги портятся так, что проехать нельзя ни в телеге, ни на санях, близко к Благовещенью. Поговорка гласит: “Либо неделю не доедешь, либо неделю переедешь”. Или Петров день, 29 июня. После него – покос лугов. Поросят резали два раза в год: к Рождеству и к Пасхе и т.д. Нельзя было не признать, что все эти правила крестьянской жизни в России, установившиеся за много веков, нарушаются введением нового стиля для церковных праздников.

Еще большую сумятицу в церковную жизнь внесла так называемая обновленческая или “живая” церковь. Она возникла в 1922 году. Возглавлял

ее митрополит Александр (Введенский). В 1923 году обновленческая церковь в Сергиеве получила широкое распространение и охватила практически все храмы, за исключением церкви Параскевы Пятницы. (Ошибка мемуариста: только часть приходских церквей города оказалась в руках обновленцев – Т.С.). Святейший Патриарх Тихон повел решительную борьбу с обновленцами и призвал всех верующих следовать за собой. В результате большое количество православных перестало посещать свои приходы и ходило молиться в Пятницкую церковь или в монастыри (Гефсиманский скит, Черниговскую пустынь), куда обновленцы еще не сумели проникнуть».

О Пятницкой церкви вспоминала и графиня Антонина Владимировна Комаровская (1916–2002). Их семья приехала в Посад в 1923 году, когда ей было семь лет.

Она писала: «Вокруг Лавры оставалось еще много ее монахов. Некоторые из них работали сторожами в Лавре. Служили они в примыкавшей к ее стенам Пятницкой церкви. Розовая, с синими куполами, эта церковь с небольшим двориком вокруг нее по воскресеньям бывала окружена рынком, здесь торговали сеном и дровами, возы с которыми заполняли небольшую площадь рядом – там, где теперь разбит сквер. Богослужение в Пятницком храме исправлялось по монастырскому».

Далее Комаровская перечислила все приходские церкви, в которых они бывали или за дальностью расстояния не бывали. Но все церкви были во время НЭПа еще открыты. Приходской церковью Комаровских была церковь Рождества, переделанная позже под клуб трикотажной фабрики. В ней, вспоминала она, «старостой был Иван Демидович, хозяин игрушечной лавки в белых каменных рядах у лаврской стены, куда мы не могли не зайти полюбоваться, хотя ничего и не покупали. Это было время НЭПа – в городе были частные магазины: книжный – Елова, мясной – Каптелина, бакалея – Гагина и другие. В начале Вифанки, справа, если смотреть на площадь, был на углу кооператив “Смычка”, вход в него был украшен картинами с красноармейцем в шлеме “бутылке”, шагающим с белым хлебом в руках.

Сбоку на ступеньках часто сидели две женщины, продававшие ириски разных сортов.

Сергиевские базары представляли в те годы яркую картину, особенно зимой. В воскресные дни вся площадь перед монастырем и до конца спуска была занята возами, а зимой санями, среди которых двигалась оживленная толпа. Крестьяне в ярких дубленых оранжевых полушубках торговали с возов, где рядом с кринками с молоком, горшками со сметаной, творогом и другими припасами продавались кустарные игрушки: мужик и медведь с топориком и молотком, деревянные курочки клюющие, маленькие гармошки, лошадки, ящички с музыкой и пляшущими под нее фигурками, куклы, маленькие деревянные лопаточки, грабли, тачки, санки и другое. Знаменитой Сергиевской игрушкой была “Лавра” – макет с маленькими выточенными соборами, колокольней, часовней и другими зданиями и стенами. Все это раскладывалось по плану.

После недавних голодных времен появились новые угощения. Помню отца с Алешей, вернувшихся домой в воскресенье с гирляндами бубликов и принесших вместе со свежим воздухом праздничное настроение...

Новые времена выражались тогда в портретах Ленина, окруженных хвоей и украшавших красные углы в магазинах, с горящими под ними красными лампочками. Позднее на стене над банком, в самом начале Вифанки, у площади, был выставлен ряд портретов революционных деятелей».

А годы НЭПа в деревне описаны в воспоминаниях князя Сергея Михайловича Голицына. Их семья несколько лет жила в селе Глинкове под Сергиевым Посадом, снимая дачу. К 1925 году относится этот фрагмент воспоминаний.

«Глинково, как и вся тогдашняя крестьянская Россия, процветало. Дважды в день, поднимая пыль, мимо нашей избы проходило многочисленное стадо коров и овец. Пастух мелодично играл на дудочке, подпаски бегали, щелкая кнутами. В разных концах села слышался перезвон

топоров – это рубились новые избы с резными крылечками и с наличниками вокруг окон. С вечера и до рассвета по сельской улице ходили девчата в сопровождении парней и пели одну-единственную песню “Хаз-булат удалой”.

После Петрова дня началась страдная пора – сперва покос, потом жатва. Работали все от малого до старого, не считаясь с усталостью, от восхода и до заката. Наверное, никогда с тех лет не видела наша страна такого усердия к труду на земле. Каждый сознавал, что день летний год кормит. А жали серпами, вязали снопы вручную и складывали их шалашиками, молотили цепами.

Сейчас вспоминаю о крестьянском труде не столько зрительно, сколько через звуки. Мычанье коров, бляенье овец, дудение пастуха, щелканье кнутов, гиканье всадников-мальчишек на скачущих в ночное конях, перезвон плотницких топоров, вжиканье кос – все это давно исчезло из современной деревни.

На престольный праздник – Двенадцать апостолов– с утра церковь заполнялась нарядными, в блестящих сапогах, мужиками, с расчесанными бородами, бабами в белых платочках. А после обедни и молебна батюшка отец Алексей, торжественный, благостный, выходил на амвон в золотой ризе, сперва проникновенным басом говорил проповедь, потом давал целовать крест теснившимся возле него прихожанам.

К Успенью напряжение страды спадало».

ГОДЫ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»

НЭП заканчивался в конце 1920–начале 1930-х годов. Эти годы называют годами «великого перелома». О том, как сказалась ликвидация НЭПа на селе, мы знаем по воспоминаниям князя С.М. Голицына:

«Дело историков – беспристрастно изучить и объяснить те беды, которые нежданно и негаданно осенью 1929 года обрушились на многотерпеливую и многострадальную нашу Родину, и прежде всего на крестьянство. Газеты неистовствовали. Бдительность, классовые враги, лишенцы, разгромить, уничтожить, ликвидировать – такими отвратительными словами изобиловали газетные страницы наряду с безудержным восхвалением великого и мудрого Сталина. А советский классик Максим Горький навечно опозорил себя перед потомством кровожадным лозунгом “Если враг не сдается, его уничтожают”. И был подобный, придуманный еще Лениным лозунг “Кто не с нами, тот против нас”...

Властям удалось сагитировать молодежь из городских – комсомольцев и беспартийных, начиная с шестнадцатилетних. И эта так называемая “легкая кавалерия” отправлялась по деревням. На каждую деревню была заранее составлена разрядка: раскулачить столько-то хозяйств. А сельсоветы отбирали, кого именно. И кавалеристы усердствовали, громили одних, помогали местным властям загонять в колхозы других...

Расскажу, что хорошо знаю о происходившем в Глинкове. Еще при нас наезжали раза три из Сергиева Посада власти, собирали сельский сход, разъясняли мужикам, что такое колхоз, на все лады расхваливали, уговаривали вступить и одновременно угрожали, что тот, кто вступить не хочет, кто сопротивляется – тот враг, того надо раскулачивать, напоминали пресловутые изречения Горького и Ленина.

Мужики слушали, затылки почесывали. Они никак не могли постичь, с какой стати нужно отдавать свое, трудом и потом нажитое. И они, и их отцы, и деды жили – не тужили...

По каким признакам узнавали, кто на селе кулак? Да очень просто – по внешнему виду домов.

До того два летних сезона подряд я наблюдал, как два глинковских крестьянина-соседа возводили просторные избы-пятистенки, как искусные мастера украшали фасады затейливой резьбой. И поднялись обе избы все в кружеве. Хозяева столько поистратились, что потребовалось долги отдавать, потому-то лучшие горницы они уступили дачникам. В одной из этих изб-красавиц и поселился мой брат Владимир с семьей. А настал черный день – и обоих хозяев с женами, с детьми малыми выслали в Сибирь и все их имущество отобрали. Недолго довелось им жить в просторных горницах.

Остальные глинковцы, взирая на несчастье односельчан, готовы были идти хоть в колхоз, хоть куда еще, лишь бы их оставили жить в своих избах. Затаились мужики, со страхом прислушивались, кто идет, кто в ворота стучит. Было время – по вечерам собиралась сельская молодежь плясать и петь под гармошку, летом на улице, зимой избу снимали. С той страшной осени смолкла гармошка...

А районные власти, чтобы показать перед областным начальством свое усердие, придумали для глинковцев такое ... В двух километрах от села находился Вифанский монастырь... В первые годы революции монастырь был закрыт... А в жилом корпусе и в хозяйственных постройках разместилось педагогическое училище... Вот какую неслыханную затею придумали Сергиевские власти: выселить или вовсе ликвидировать педагогическое училище, а в бывших монашеских кельях по коридорам направо и налево поселить крестьянские семьи из Глинкова и соседних деревень. Так будет организована первая в районе коммуна. Ведь как здорово получается! На практике осуществляются заветные мечты великих вождей

Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина: из мелкобуржуазного частнособственнического общества – и прыг прямо в коммунизм!

– Все будет у вас общее, – так убеждали городские агитаторы на сельских сходах ошалелых от ужаса глинковцев, – общие в концах коридоров в вашем новом жилье кухни, общий сельскохозяйственный инвентарь, кони, скот, даже куры. Кто-то сдуру спросил:

– А бабы тоже будут общими?

Его оборвали, назвали классовым врагом, подкулачником, а через два дня посадили. И бедные глинковцы, дрожа от еще большего ужаса, ждали, что будет дальше. А Сергиевская газетенка нагнетала страхи и одновременно захлебывалась от восторга, расписывая, как отправятся глинковцы в земной рай.

Я всю эту, кажущуюся теперь невероятной историю знаю, потому что ходоки из Глинкова пытались, но безрезультатно, попасть на прием к самому Калинину и приходили за советами к моему брату Владимиру и зятю Виктору.

Неожиданно явился за них заступник в лице самого наркома просвещения Луначарского. Когда до него дошла весть, что училище в Вифании грозит закрыть, он возмутился. Всю зиму кипела борьба: “Закреть училище, да здравствует коммуна!” И, наверное, пришлось бы глинковцам покидать родные пепелища, если бы не знаменитая статья Сталина “Головокружение от успехов”».

На примере семьи князя Владимира Сергеевича Трубецкого видно, какие изменения происходили в это время в жизни жителей города Сергиева. «Общее благоденствие с ликвидацией НЭПа стало кончаться, – вспоминал А.В. Трубецкой. – Я еще помню частный магазин Гагина на Вифанской улице, потом закрытый, разносчика копченой рыбы, с плетеным коробом на голове в таком захолустье, как Огородная улица, или производство вафель и мороженого на той же Вифанке. Там можно было купить целый пакет

обломков этих вафель за три копейки – отход производства. А ткацкая частная фабрика Зайцева? Частные извозчики...

Но вот все это стало исчезать... Ликвидация НЭПа коснулась многого и многих. Хозяин нашего дома, П.Г. Осипов, владел еще двумя домами. Ему оставили один на Нижней улице, где он и проживал. Мы переселились в одну комнату одноэтажного кирпичного сырого строения – дом этот и сейчас стоит в самом начале улицы. (Дом теперь снесен. – Т.С.)... Нашему квартирному раздолью – три комнаты с террасой, чуланами – пришел конец.

Жизнь на Нижней улице стала довольно скудной, а порой и просто голодной. На маленькой плите, которая нещадно дымила, отапливая нашу комнату, мать варила пустые щи, пшенную кашу на воде или картошку. В качестве приправы жарился лук на небольшом количестве сметаны.

Ломка давних устоев в сельском хозяйстве, восстановленных было НЭПом, всеобщая коллективизация (год “великого перелома”) пагубно сказались на жизни всего народа и, конечно, на нашей семье. Голод усиливался, появились и соответствующие болезни и даже эпидемии, как следствие снижения уровня бытового благополучия. В одном из домов за углом Нижней улицы (красный, кирпичный двухэтажный – он и сейчас стоит) разместилось сыпнотифозное отделение больницы. Как сейчас вижу выезжающие из его ворот большие сани с шестью гробами – четыре поперек платформы, а сверху два. А однажды из окна первого этажа выскочил полуголый человек; сыпняк характеризуется еще и бредовым состоянием. Завелись платяные вши и у нас. Где мы их подцепили, уж не знаю. Вероятно, в бане. Наше мытье, как это было на Огородной, естественно, прекратилось, и мы всей семьей стали ходить в тесные и довольно грязные городские бани, расположенные за Лаврой.

Была введена карточная система, и появились очереди за хлебом...

Повсеместный голод усиливался, и в городе появился магазин под названием “Торгсин”. Потекли туда жалкие остатки семейных ценностей в золоте и серебре... А однажды отец пришел домой, нагруженный кулками с

крупой, мукой, какими-то жирами. На вопрос матери: “Откуда?”, он молча показал кисть правой руки уже без обручального кольца.

Надо отдать должное заграничным родственникам: они посылали, правда, не часто, валюту, которая реализовывалась в торгсине, “торговля с иностранцами” – так расшифровывалось это название... Торгсины, где при общем голоде полки ломились от изобилия, размещались не только в столицах, но и городах, где иностранцами и не пахло. Зато у голодного населения имелось от прежних лет и золото, и серебро, которое так бессовестно – торговля с иностранцами – выкачивалось у народа...

А как отец возмущался ежегодной подпиской на “заем индустриализации”, когда надо было “добровольно” отдавать государству месячную зарплату с очень далекой и эфемерной перспективой получения занятого обратно. “Вот Иван Иванович просит у тебя займы, – говаривал отец – просит раз, другой, третий. Ты ему говоришь, что дам, но сначала отдай, что занял раньше”. Насколько я помню, у него даже были неприятности на работе из-за нежелания подписываться на заем».

Ульяна Сергеевна Самарина (род. в 1928) недавно в письме автору из Парижа написала о том, что ее мать не один раз рассказывала детям: «В трудные годы мы все, “лишенцы” с трудом добывали себе пропитание, но и все, как могли, помогали друг другу. И вот однажды нам с разных сторон принесли буханки хлеба, которые лежали горкой на столе. Забежал к нам случайно Владимир Трубецкой и, увидав этот хлеб, остановился и мог только произнести: “Хлеб!”. Я сказала ему: “Владимир, возьми”. Он схватил буханку, прижал ее к себе и убежал. Ведь у него много было детей. Когда мы уехали в 1931 году [из России], у него было уже семь человек детей».

Весной 1928 года в Сергиеве жители почувствовали, что начинается вновь борьба с Церковью и травля тех, кого называли «бывшими». Предлогом послужил выстрел в окно заведующего агитпропом укома ВКП (б) Костомарова. Выстрел в цель не попал, и кто стрелял, осталось неизвестным, но этот случай стал хорошим предлогом, чтобы организовать

травлю «бывших». Кампания шла и в местной печати, и в центральной. Вот заголовки некоторых статей: «Весь монастырь под рабочий поселок!», «Водка, религия и хулиганство – наследие царского режима», «Будем более бдительными», «Пресекать в корне вредительство контрреволюционных элементов», «Требуем сурового наказания обнаглевших черносотенцев» и т.п.

А в мае 1928 года по городу прокатилась волна арестов. Арестовано было 80 человек. В обвинении говорилось, что «будучи по своему социальному происхождению “бывшими” людьми (князя, графы и т.п.), в условиях оживления антисоветских сил начали представлять для Соввласти некоторую угрозу ... Почти все обвиняемые, благодаря своего происхождения, а также положения, занимавшегося ими в дореволюционное время, так и сейчас, идеологически были родственны между собой и составляли целую группировку черносотенного элемента, настроенного резко враждебно по отношению к Соввласти» (Язык и стиль документа приводятся без изменений). На самом деле среди арестованных не оказалось ни одного князя или графа. Титул был только у сотрудницы Краеведческого музея княжны Анны Дмитриевны Шаховской. Арестованы были несколько дворянок, а также монахи, церковные старосты и другие лица, близкие к Церкви. Большинство арестованных по приговору тройки при ОСО ОГПУ было приговорено к административной высылке.

Резко увеличилось в Сергиевом Посаде в 1928 году число «лишенцев», (то есть тех, кто не имел права участвовать в выборах власти всех уровней). Если человек попадал в список «лишенцев», он лишался также права быть членом профсоюза, работать в государственных учреждениях и на промышленных предприятиях, и как безработный не мог встать в очередь на бирже труда, этим людям не давали пособий и пенсий. Были ограничения при получении детьми лишенцев образования: им нельзя было учиться дальше 7-го класса. А когда ввели карточки на продукты, «лишенцам» их не дали. Были и другие притеснения.

В конце 1929 года Пришвин записал в дневнике разговор с соседом, молодым парнем. Тот поразил писателя знанием литературы. Паренек объяснил, что окончил школу 2-й ступени, и что у них учитель был хороший.

« – Почему же, – спросил я, – Вы не учились дальше?

– За грехи отцов, – сказал он, – не приняли в местную школу, даже к экзаменам не допустили, и никуда мне ходу нет: у отца лавка была».

Писатель не нашел ничего лучшего, как посоветовать оставить отца и мать, паспорт “потерять” и уехать в другое место. Этот молодой человек не согласился, но сколько было тех, кто так и поступил, бросив родителей на произвол судьбы.

А вот что писал Пришвин в дневнике 1930 года о судьбе своих соседей:

«25 января. К вечеру у Карасевых (соседей) произошел страшный разгром. Человек только что выстроил дом, и вдруг все имущество описывается, дом отбирается, а сам всей семьей пожалуйста в какую-то другую губернию. Это его как бывшего торговца ... По-видимому, это начало разгрома купцов и лишенцев. Это будет страшней, чем когда-то помещиков. Во-первых, тогда думали все, что без помещиков жить можно, во-вторых, была мечта о будущем. Ныне все уверены, что без купцов никак не проживешь, и что в будущем непременно голод».

«22 февраля. ...Классовый подход к умирающим (в больнице выбрасывают трех больных, разъяренных лишенцами).

Каждый день нарастает народный стон».

«23 октября. ...Опять начали выгонять из школ детей лишенцев (торговцев)».

С.М. Голицын писал: «Сначала закон о лишении прав встретили без испуга, а скорее с обидой, особенно на селе. Все голосуют за подставленного властями избранника – депутата, а тебя голосовать не пускают и в списках вывесили на показ и на позор.

А на самом деле лишение избирательных прав стало страшным орудием, карающим людей, не совершивших никаких преступлений с точки

зрения простого здравого смысла, более того, карающим их детей, в том числе и малолетних.

В основу была положена трактовка весьма краткой формулы Карла Маркса – “бытие определяет сознание”. Разъяснялась эта формула так: “Вы сами, ваш сын или ваш внук по социальному происхождению принадлежите к ранее привилегированному сословию – дворян, купцов, духовенства, а раз вы эти привилегии потеряли, значит, чувствуете себя обиженными Советской властью, значит, ненавидите ее, значит, являетесь ее врагом, значит, вас надо преследовать”».

В 1926 году в Сергиевом Посаде было 354 «лишенца» (примерно 2,7 % от числа жителей). А через три года – уже 1528 (около 11,5 %). Среди лиц, попавших в страшный список 1928 года, было больше всего торговцев. В несколько раз по сравнению с 1926 годом выросла доля духовенства. И почти на порядок увеличилась доля собственно «бывших». Видно, что на местах власти пользовались инструкцией, присланной сверху, весьма свободно. В инструкции были перечислены дореволюционные должности, звания и чины, обладание которыми влекло лишение избирательных прав (министры, губернаторы, прокуроры, предводители дворянства и т.д.). Но в Сергиевом Посаде в список «лишенцев» включили большое число женщин-дворянок, хотя в дореволюционной России феминизация не зашла так далеко, чтобы женщины занимали указанные должности. Большею частью эти «лишенки» были или домашними хозяйками, или, в прошлом, сестрами милосердия, а в 1928 году работали в медицинских учреждениях города. В список попали и дворянки преклонного возраста, и многодетные матери. Не пощадили ни 64-летнюю племянницу жены А.С. Пушкина Н.И. Гончарову, ни имевшую в то время семерых детей Е.В. Трубецкую. Можно предположить, что это объясняется не только, классовой ненавистью но, прежде всего чужеродностью «бывших», которые были в Сергиевом Посаде приезжими.

Видимо, план по «лишенцам» городские власти все же сразу не смогли выполнить. И после списка декабря 1928 года в январе 1929-го появился

дополнительный список. Добирали духовенство, а также членов семей, находившихся на иждивении тех, кто был лишен избирательных прав. В эту категорию попадали престарелые родители, иногда дети, достигшие 18-ти лет, больше всего жены – в 1920-х годах в провинции невозможно было обойтись без домашней хозяйки, если не было прислуги. Доля таких «лишенцев» составила 40 %.

С.М. Голицын писал: «Когда я вспоминаю о той жизни, ... то прежде всего на ум приходит ненависть, упорно и злобно насаждаемая сверху – от Сталина, которого тогда еще не называли “великим”, и от его окружения. Та ненависть подхватывалась нашей подбострастной прессой, газеты пылали злобой к капиталистическому строю, который никак и нигде не думал низвергаться. Еще с большей ненавистью писали газеты о классовых врагах, которые притаились в разных учреждениях, во всех глухих углах нашей многострадальной страны. Почему государственная машина еле двигается и скрипит? Да классовые враги вредят. Бдительность! Это слово изобиловало в каждой газете. Кто враги? Самые первые враги – это кулаки, то есть крестьяне, которые трудятся для себя, для семьи, а не для строительства социализма. Еще: враги – это специалисты – инженеры, ученые, служащие. Они сознательно вредят в промышленности, на транспорте, на стройках, в учебных и научных учреждениях, еще враги – попы, а иначе представителей духовенства в газетах не называли. В церквях проповедуется чуждая и враждебная идеология. Закрывать церкви, сажать попов.

Еще непримиримые враги – это бывшие люди: помещики, чиновники, офицеры – царские и белые, фабриканты. У всех у них отняты прежние привилегии, разные блага, и потому все они ненавидят Советскую власть, а среди бывших особо выделялись титулованные – князья, графы, бароны».

В дневниках Пришвина немало записей о том, как шла коллективизация в районе, и к каким последствиям это привело. С 1926 по 1937 год писатель жил в Сергиевом Посаде (с 1930 года – Загорске). Вот несколько записей в его дневнике 1929 года:

«28 марта. Догнал какую-то женщину и пошел за ней след в след. На голове у нее вязаный серый шерстяной платок, пальто, наверное, раньше было зеленое и выгорело до цвета навозной лужи, по бокам пальто были по модному косяки с ярко-желтыми с синим полосками, ноги были обуты в валенки, обшитые кожей, заплаты на старых валенках были тоже из кожи, в правой руке у нее был бидон из-под машинного масла, как можно было догадаться, для керосина, в другой руке обыкновенная плетеная сумочка для провизии, как у всех, обшитая сверху мешком. Впереди виднелись открытые двери кооператива, куда, наверно, и шла эта женщина: вчера объявили выдачу чая по четверти на книжку, по два кило сахара, соли и еще чего-то. У нас в доме женщины тоже собирались за выдачкой. Все это стало до того привычно, до того обыкновенно и серо, и женщина в рыжем была мне будничной серой судьбой, я отлично сочинял свою повесть, как вдруг эта женщина вздрогнула и сказала громко, на всю улицу:

– Фу ты, батюшки, забыла, будь-те прокл...

И повернулась на меня.

– Что забыла? – спросил я.

– Книжку забыла, будь-те прок...

Вот именно проклятие кончалось на букве “л” и расплывалось без окончания.

– Кого же ты проклинаешь? – спросил я.

– Сволочи, – сказала она.

И пошла, повторяя вслух жалобы и ругательства.

5 апреля. В общественной жизни готовимся к серьезному посту. В кооперативах теперь уже нет ничего, нельзя купить без книжки калоши и чулки, а по книжке дают на 5 человек одну пару калош.

28 октября. По секрету сказали, что почтово-телеграфная контора завалена телеграммами женщин из деревень к мужьям в Москву: “Приезжай немедленно, хлеб отобрали”. Время быстрыми шагами приближается к положению 18–19 годов, и не потому, что недород, а потому что граждане

нынешние обираются в пользу будущих: если не через пять лет, то в следующую затем пятилетку, если не там, то еще дальше, и так когда-нибудь будет хорошо жить».

Вот несколько записей 1930 года:

«29 января. ... Тимофей рассказывал, как у них в Бобошино приезжали уговорщики, 6 человек. “Добровольно?” – спрашивали их. “Мы, – говорят – никого не насилуем”. А когда за коллектив поднялось только 5 рук, сказали: “Ну, мы еще приедем и посильнее нажмем. У вас и постричь надо”.

“Постричь” – значит, разорить более состоятельных, признав их за кулаков.

Мужики, вообще привычные к войне, к стихийным бедствиям, и готовы бы и в коллектив идти, но удерживает что: удерживает страх перед тем, что корову, лошадь отдашь, сарай отдашь на общий сарай, а потом, глядишь, все не состоит и вернешься назад ни к чему, по миру ходить, и мира не будет...

Правда, страшно до жути. Хотя и мелочи тоже ужасны, например, молоко от коровы: доили корову, ребятишек кормили, а тут корова пошла в коллектив, и молоко твое увезут на продажу, а если тебе надо, свое же молоко купи.

Везде на улицах только и разговору, что о коллективе. В Доме крестьянина за чаем вдруг женщина ни с того, ни с сего разревелась. “Что ты?” – спрашивают. Баба отвечает: “Перегоняют в коллектив, завтра ведем корову и лошадь...”.

2 февраля. ... Коровы очень дешевы, от 150 р. – 350 р., потому что двух держать боятся и продают обыкновенно совхозам, колониям, которым резать коров можно. Вообще это мясо, которое теперь едят – это мясо, так сказать, деградационное, это поедание основного капитала страны.

22 февраля ... Рассказывал на базаре садовник, будто два мужика легли под машину и оставили после себя записку: “В смерти своей никого не виним, уходим от хорошей жизни”.

24 февраля ... Шел я вечером по Петровке, думаю о своем, ничего не вижу и вдруг очнулся: я стоял у витрины Окружного молочного союза. Десятки сильных электроламп заливали светом пустые прилавки, огромные пустые цинковые баки, предназначенные для хранения масла, и тоже пустые. Совсем ничего не было в пустом магазине, только кое-где желтели и красовались головки деревянных бутафорских сыров...

2 марта ...сегодня напечатана статья Сталина “Головокружение от успехов”, в которой он идет сам против себя. Едва ли когда-нибудь доходили политики до такого цинизма...

3 марта ... Поражает наглая ложь. (Умные лгут, глупые верят). Пишут, будто как коллективизация, так и раскулачивание происходили сами.

5 марта ... В деревне сталинская статья “Головокружение”, как бомба разорвалась. Оказалось, что принуждения нет – вот что! Дом, корова, птица, огород не подлежат коллективизации! Гнули в три дуги. Председатель Кузнецов прямо говорил: “Вас надо стричь” (в Соловки высылать). Грозили прямо: “Не пойдете в коллектив, заморим: корки не дадим!” И вдруг нате: “У нас не полагается принуждения, изба, корова, огород не подлежат...”

7 марта...Манифест Сталина вызвал бурю радости у мужиков, но интеллигенция расценила его как искусственный прием, сдерживающий прорыв гнилого нарыва...

12 марта ... После манифеста мало-помалу определяется положение: сразу вскочили цены на деревенские продукты, это значит, мужик стал продавать в пользу себя, а не распродавать ввиду коллективизации. Сколько же порезано скота, во что обошелся стране этот неверный шаг правительства, опыт срочной принудительной коллективизации...

27 марта ... В Бобошине – бедняк держал всю деревню в страхе. Первое, конечно, что бедняк и у него особенные права. В последние дни (“до газеты”) страх в народе дошел до невозможного. Довольно было, чтобы на улице показался какой-нибудь неизвестный человек с папкой в руке, чтобы бабы бросались прятать добро, а если нечего прятать, то с болезненным

чувством ожидать какой-нибудь кары. Тимофеева Мария рассказывала, что бабы по вечерам бегали друг к дружке, сговаривались в случае беды мужиков услатить куда-нибудь в лес, потому что мужиков со сходки берут, а если бабу взять, то и детей надо. И обещались бабы стоять до последнего, и в коллектив нипочем не соглашаться. Так и ожидали этой сходки, как смерти: помрем вместе с ребятишками, подохнем с голоду, а в коллектив не пойдем...

4 апреля... Вчера опять Сталин. Оказался прав тот мужик, который, прочитав манифест, сказал, что хотят взять мужика в обход. Обозначился обход: опубликованы льготы колхозникам и подчеркнуто, что крестьяне вне колхозов этих льгот иметь не будут. Иначе говоря, государственные налоги должны будут платить дикие крестьяне...

13 апреля ... Среди бедняков 50 % природных лентяев...

11 июля ... Из Москвы приехал измученным и голодным. Самое ужасное для меня – это очереди. С утра часа за два до открытия магазинов стоят перед закрытыми дверями очереди “охотников”. Эти кадры, вероятно, состоят из тех служащих, которые пользуются своим выходным днем для покупки чего-нибудь, все равно чего, всякий товар в отношении наших падающих денег – валюта. Вероятно, среди них много и прежних торговцев...

18 июля... Молодая женщина несла в руке какой-то фунтик. Старая женщина заметила издали фунтик и думала: “Откуда фунтик, если ничего нигде нельзя купить, разве дают где-нибудь?” Поравнявшись с молодой женщиной, она спросила:

– Дают?

Молодая очень серьезно бросила:

– Нигде ничего не дают.

19 августа. Спас яблочный, а яблочка нигде ни одного. Спрашивают: “Куда делись яблоки?” Отвечают: “Подвоза нет”. Смеются: “Подвоза нет!”, раскулачили садовников, вот и подвоза нет».

В годы перелома с новой силой вспыхнула борьба с религией. Князь Владимир Михайлович Голицын (1901–1943), который жил с семьей летом в Глинкове, под Сергиевым Посадом, записал лозунг, висевший в Загорском клубе железнодорожников в 1928 году: «Церкви под клуб, колокола в мартены, попов на мыло!».

А вот как вспоминал это время Андрей Владимирович Трубецкой, учившийся в начальной школе: «...церковь, к которой примыкала школа (церковь Михаила Архангела – Т.С.) была еще действующей. Но местному начальству такое соседство, видно, не нравилось, и скоро церковь закрыли, разгромив ее внутреннее убранство. К этому разгрому привлекли и кое-кого из местного населения. Я помню, как некоторые мои уличные знакомые мальчишки показывали содранные с праздничных риз круглые шарики, имитирующие жемчуг (а, может быть, и настоящий), прося узнать у матери их ценность. Еще не понимая, в чем тут дело, я спросил, и мать сказала, откуда все это...».

Осенью 1931 года Трубецкой пошел учиться в пятый класс, в среднюю школу. «Это было время особенно сильных гонений на религию, – вспоминал он. – В школах велась ярая атеистическая пропаганда. Вспоминается, как нас заставляли (правда, не всех подряд, до меня очередь не доходила) рассказывать, как мы провели пасхальные дни. И если рассказчик говорил о своих радостных переживаниях, то педагог поправлял, что эта радость и веселость происходила от посещения кинотеатра, клуба, но никак не церкви».

Примерно тогда же была введена пятидневка: четыре дня занятий, а пятый – свободный. А в учреждениях пятидневка была еще и непрерывной: выходные дни не были фиксированными и везде свои. Потом пятидневку заменили шестидневкой, а вместо непрерывности общие выходные были в одни и те же дни: 6-го, 12-го, 24-го и 30-го числа каждого месяца. Как справедливо замечает Трубецкой: «Тоже определенный умысел: вытравить из памяти воскресенье – свободный день».

Рядом с новой школой, бывшей гимназией, располагалась церковь Вознесения. «И вот ее закрыли, – вспоминал Трубецкой. Как обычно и везде, за церковью небольшое кладбище, и его начали крушить. В этом разорении участвовали и мои товарищи – пяти- и шестиклассники просто из чувства озорства и хулиганства, которое, видно, негласно поощрялось. Все это и сейчас стоит перед глазами: целая ватага носится по двору с небольшим металлическим распятием, сорванным с какого-то надгробия, глумясь над Христом, плюя на него. С горьким чувством смотрел я издали на все это и... никак не вмешивался. Да и можно ли было вмешаться? Уже одно ношение нательных крестов было просто невозможно. В бане, в школе при медицинских осмотрах, когда надо было снимать рубашку, предстать с крестом на груди ... Это же вызов! И мы, люди слабые, сдавались, снимали кресты. И уже на всю жизнь. А вот брат Владимир взрослым человеком снова начал носить нательный крест.

В Лавре сбрасывали колокола. Огромный колокол, свалившись с колокольни, так и не раскололся. Он лежал на боку, и мы влезали в него, как в какое-то помещение. Чтобы его расколоть, на него сбрасывали колокола размером поменьше. Наконец, и он развалился. В эти развалины мы тоже влезали и мелкими осколками били по стенкам, извлекая грустные звуки. Наша мать попросила принести такой осколок, и он долго хранился дома, поблескивая жилками серебра на изломе.

Сестра Ирина рассказывала, как Варя, которая была значительно старше, повела ее в Троицкий собор поклониться мощам Сергия Радонежского. Церковь была пуста, но когда они подошли к раке и перекрестились, какой-то голос из темноты и, как показалось Ирине, сверху, закричал на них, прогоняя вон. Это был, видимо, кто-то из охранников-соглядатаев.

Мощи преподобного Сергия были вскрыты, и нас, школьников, водили смотреть. Запомнился полумрак Троицкого собора, а в богатой, мерцающей серебром и золотом раке на темно-синей атласной подушке с золотыми

звездами были рассыпаны потемневшие косточки. Сопровождающий педагог объяснял, что это кости барана...

Конечно, не все учителя были такими. Трубецкой вспоминал: «Мне запомнились некоторые преподаватели. Шевалдышев, даже какой-то пришибленный, сказал бы я, пожилой интеллигент, видно, еще из гимназических учителей, на одном из пальцев правой руки постоянно носил маленькую повязку, явно прикрывавшую обручальное кольцо. Вот ведь было время – обручальное кольцо – явный криминал! Преподавал он нам биологию...

Антирелигиозный разгул усиливался. Журналы и газеты пестрели соответствующими карикатурами, статьями. Сделались очень популярными и соответствующие хлесткие похабные песенки, анекдоты и присловья. Одно из самых безобидных я до сих пор помню, и еще недавно даже слышал его: «Здесь не в церкви, здесь не обманут»».

Вот еще несколько записей в дневнике Пришвина 1930 года:

«6 января. «Верующим к Рождеству вышел сюрприз. Созвали их. Набралось множество мальчишек. Вышел дефективный человек и сказал речь против Христа. Уличные мальчишки радовались, смеялись, верующие молчали: им было страшно сказать за Христа, потому что вся жизнь их зависит от кооперативов, перестанут хлеб выдавать – и крышка! После речи своей дефективное лицо предложило закрыть церковь. Верующие и еще кое-какие старики: Тарасиха и другие, – молчали. И так вышло, что верующие люди оставили сами себя без Рождества, и церковь закрыли. Сердца больные, животы голодные и постоянная мысль в голове: рано или поздно погонят в коллектив»».

В январе 1930 года с колокольни Лавры сбросили колокола – нужна была бронза для тракторных подшипников. Пришвин сделал целую серию фотографий процесса и подробно описал эти события в дневнике:

«8 января. ...Вчера сброшены языки с Годунова и Карнаухова. Карнаухий на домкратах. В пятницу он будет сброшен на Царя с целью

разбить его. Говорят, старый звонарь пришел сюда, приложился к колоколу, простился с ним: “Прощай, друг!” и ушел, как пьяный. Был какой-то еще старик, как увидел, ни на кого не посмотрел, сказал: “Сукины дети!”. Везде шныряет уполномоченный ГПУ. Его бесстрашие. И вообще намечается тип такого чисто государственного человека: ему до тебя, как человека, нет никакого дела. Холодное, неумолимое существо.

9 января. ...На колокольне идет работа по снятию Карнаухова. Очень плохо он поддается, качается, рвет канаты, два домкрата смял, работа опасная и снимать было чуть-чуть рискованно. Большим колоколом завладели дети. Внутри колокола полно ребятами, с утра до ночи колокол звонит...

15 января. 11-го (суббота) сбросили Карнаухова. Как по-разному умирали колокола. Большой, Царь, как большой доверился людям в том, что они ему ничего худого не сделают, дался опуститься на рельсы и с огромной быстротой покатился. Потом он зарылся головой глубоко в землю. Толпы детей приходили к нему и все эти дни звонили в края его, а внутри устроили себе настоящую детскую комнату. Карнаухий как будто чувствовал недоброе и с самого начала не давался, то качнется, то разломает домкрат, то дерево под ним треснет, то канат оборвется. И на рельсы шел неохотно, его тащили тросами ... При своей громадной форме, подходящей к Большому, Царю, он был очень тонкий: его 1200 пудов были отлиты почти по форме Царя в 4000. Зато вот, когда он упал, то и разбился вдребезги. Ужасно лязгнуло и вдруг все исчезло: по-прежнему лежал на своем месте Царь-колокол, и в разные стороны от него по белому снегу бежали быстро осколки Карнаухова. Мне, бывшему сзади Царя, не было видно, что спереди и от него отлетел огромный кусок.

19 января. Все это время лебедкой поднимали высоко язык большого колокола и бросали его на куски Карнаухова и Большого, дробили так и грузили... Язык Карнаухова был вырван и сброшен еще дня три тому назад, губы колокола изорваны домкратами.

23 января. Все воскресенье и понедельник горел костер под Царем, чтобы оттаяла земля, и колокол упал на отбитые края ближе к месту предполагаемого падения Годунова. Рабочие на колокольне строили клетку под Годунова.

25 января. Лебедками и полиспастами повернули Царя так, чтобы выломанная часть пришлась вверх. Это для того, чтобы Годунов угодил как раз в этот вылом, и Царь разломился.

28 января. Сначала одна старуха поднялась к моему окну, вероятно, какая-нибудь родственница сторожа... Она осталась, потому что такая бессмысленная старуха должна быть при всякой смерти, человека, все равно как колокола ... К ней присоединились еще какие-то женщины, сам сторож, дети прямо с салазками, и началось у них то знакомое всем нам обрядовое ожидание, как на Пасхе ночью первого удара колокола, приезда архиерея или...

О Царе старуха сказала:

– Большой-то как лёгко шел!

– Лёгко, а земля все-таки дрогнула.

– Ну, не без того, ведь четыре тысячи пудов. Штукатурка посыпалась, как упал, а пошел как лёгко, как хорошо!

Совершенно так же говорила старуха о большом колоколе, как о покойнике каком-нибудь: Иван-то Митрофаныч, как хорошо лежит.

Потом о Карнаухом:

– Вот вижу: идет, идет, идет, идет – бах! И нет его, совсем ничего нет, и только бегут по белому снегу черные осколки его как мыши...

Рабочие спустились с колокольни к лебедкам. У дверей расставились кое-что понимающие сотрудники музея. Когда лебедки загремели, кто-то из них сказал:

– Гремит и, видно, не поддается...

– Еще бы, – ответил другой, – ведь это XVI век тащат.

– Долго что-то, – вздохнула старуха, – вот тоже Карнаухова часа два ждали. Хорошо, лёгко большой шел: не успели стать, глядим, идет, как паровоз.

Показался рабочий и стал смазывать жиром рельсы.

– Бараньим салом подмазывает!

– В каждом деле так, не подмажешь, не пойдет.

– Да, большой-то летел и как здорово!

– Будут ли опять делать?

– Колокол?

– Нет, какие колокола, что уж! Я про ступеньки на колокольне говорю разбитые, будут ли их делать...

– Сейчас покажется! – сказали сзади меня.

– Ах!

Показался. И так тихо, так неохотно шел, как-то подозрительно. За ним, сгорая, дымилась на рельсах подмазка. Щелкнув затвором [фотоаппарата] в момент, когда он, потеряв под собой рельсы, стал наклоняться, я, предохраняя себя от осколков, откинулся за косяк окна. Гул был могучий и продолжительный. После того картина внизу явилась, как и раньше: по-прежнему лежал подбитый Царь, и только по огромному куску, пудов в триста, шагах в 15-ти от Царя, можно было догадаться, что это от Годунова, который разбился в куски.

Большой дал новую трещину. Пытались разломить его блоками и полиспастом, но ничего не вышло...

Так окончил свою жизнь в 330 лет печальный колокол, звук которого в посаде привыкли соединять с несчастьем, смертью и т.п. По словам Попова, это сложилось из того, что 1-го мая служились панихиды по Годуновым и, конечно, звонили в этот колокол.

29 января. ...Рабочие лебедками поднимали язык большого колокола и с высоты бросали его на Царя. Стопудовый язык отскакивал, как мячик. Подводы напрасно ждали обломков.

3 февраля... Трагедия с колоколом потому трагедия, что очень все близко самому человеку: правда, колокол, хотя бы Годунов, был как бы личным явлением меди, то была просто медь, масса, то вот эта масса представлена формой звучащей, скажем прямо, личностью, единственным в мире колоколом Годуновым, ныне обратно возвращенной в природный сплав... Страшно в этом некое принципиальное равнодушие к форме личного бытия: служила медь колоколом, а теперь потребовалось – и будет медь подшипником. И самое страшное, когда переведешь на себя: ”Ты, скажут, писатель Пришвин, сказками занимаешься, приказываем тебе писать о колхозах”».

А вот отрывки из воспоминаний тех, кто и был «легкой кавалерией», кого власти использовали и в атеистической пропаганде, и в создании колхозов. В Сергиевом Посаде это были учащиеся педагогического техникума, открытого в 1920-е годы. Одним из них стал будущий писатель Алексей Мусатов (1911–1976). Его в 13 лет приняли на подготовительное отделение, в 14 он уже стал студентом. Воспоминания его друзей так рисуют годы великого перелома: «В начале двадцатых годов мы пришли из окрестных деревень: Жабрево, Малинники, Лизуново, из детских домов Хотькова, Воздвиженского, Сергиева – вовсе не потому, что стремились стать сельскими учителями – писал Д. Чумичев. – Просто мы хотели учиться, “грызть гранит науки молодыми зубами”, стать строителями новой жизни, передовыми, грамотными комсомольцами. А педагогический техникум был единственным ближайшим учебным заведением, где можно получить образование. Вот мы и поступили туда.

...в середине двадцатых годов все мы были... “стихийными революционерами”, яростными противниками мещанства и поповства. Мещанство, по нашему разумению, выражалось в частной собственности. Стипендию сдавали в общий котел, а профком на своем заседании выносил решение, кому купить обувь, кому выдать куртку и т.д. Горе тому, кто, решив принарядиться, украшал себя галстуком или прикалывал брошку.

Косметика – предел морального падения, танцы преследовались. Виновников этих прегрешений “прорабатывали” на бюро, в группах, на собраниях.

Педагогический техникум размещался тогда на территории знаменитой своей историей Троице-Сергиевой лавры, в корпусах пустовавшей тогда академии. Вместо молчаливых “академиков” в черных длинных одеяниях теперь учились мы, шумные, одетые в юнгштурмовки с портупеей через плечо, горласто распевавшие “Карманьолу”:

*Станцуем “Каманьолу”.
Пусть гремит гром борьбы.
Эй, живей, живей, живей,
На фонари попов мы вздернем!
Эй, живей, живей, живей,
Хватило б только фонарей!*

Лавра, духовная академия, в какой-то степени определила наши первые общественные интересы – борьба с поповщиной. Правда, духовенства давно уже в лавре не было, но символы поповщины были налицо. Настроение боевито, мы приветствовали сбрасывание с колокольни медно-серебряного в четыре тысячи пудов весом колокола; соглашались, что в саркофаге под покрывалом с вышивкой по рисунку Рублева покоится прах неизвестного человека, а не величайшего дипломата XIV века, мощного поборника защиты родины от кочевников. В трапезной, куда забирались через разбитое окно, обнаружили кипы литографий икон, изображавших Сергия Радонежского и других святых. Бумаги, тетрадей нам не хватало, и на оборотной стороне литографий мы писали конспекты по истории партии, диамату, методике преподавания и т.д.

Интересовали нас и баптисты, и скиты вблизи города, где обосновались, молились и занимались сельским хозяйством монахи. Требовалось досконально обследовать эти “гнезда черных воронов”.

Серьезной жизненной школой для нас была работа в деревне. Как будущих сельских учителей студентов техникума одними из первых включили в ряды активных строителей новой деревни. Мы выезжали в

окрестные деревни с докладами о преимуществах коллективной обработки земли, о применении техники: сенокосилок, жаток, тракторов, призывали создавать сельхозартели, объясняли, что государство организует в помощь таким артелям сельскохозяйственные кредитные товарищества.

Как правило, после докладов выступали наши самодеятельные артисты с песнями, чтением, с “синей блузой”, спектаклями...

Обо всем этом надо было рассказать.

Стенгазета не могла отразить все стороны жизни. Появилась потребность в создании журнала – ведь, кроме антирелигиозных увлечений, рядом шла и другая жизнь – комсомол, общественная работа, события в общежитии, учебные дела.

Последнее будоражило. В техникуме была попытка осуществить бригадный метод обучения – “дальтон-план” (бригада учит предмет, а преподавателю сдает предмет ее представитель, остальные получают оценки).

“Нам нужны Гоголи и Щедрины”, – призывала большая пресса. Мы восприняли это как личное задание. Появился журнал “Взлет” – солидный, напечатанный на машинке, иллюстрированный своими художниками. А в нем – рассказы, очерки, поэмы, стихи, политико-экономические статьи...

Но и журнала было мало. Увлечение писательством росло, нужно, необходимо было место для юмора, карикатуры. Возникает “Общество апостолов”, которое высмеивает “дальтон-план” и его защитников во главе с завучем Ф.А. Стрелковым, недавно приехавшим в техникум из Тотьмы. Хор ”апостолов”, в котором слышался и ломающийся голос долговязого паренька Алеши, подчеркнута гнусавящего, поет на церковный мотив:

*Стрелков приехал из Тотьмы,
Дальтон-план дарова-ав,
Да, видно, негодны мы,
Священный порыв пропа-ав...*

Придумали световую газету, рисовали карикатуры на стекле, потом через аппарат проецировали их на экран, сопровождая едкими замечаниями...

Стенная и световая газета, журнал “Взлет”, “Общество апостолов” вызвали большой интерес к литературе, а в среде студентов появились поэты, прозаики, критики. Зародилась идея создания группы любителей художественной литературы, возник литературный кружок. Разбирали творчество домашних поэтов и прозаиков...

Жившие в ту пору известные писатели А.В. Кожевников, С.Т. Григорьев, М.М. Пришвин тоже бывали на заседаниях литкружка, выступали перед студентами. Большая аудитория была всегда забита и учащимися, и преподавателями. Писателей встречали с непередаваемым энтузиазмом, еще бы, свои сокровища нам читает сам Пришвин...

На лаврскую библиотеку (ошибка: библиотеку Духовной академии. – Т.С.), занявшую целый двухэтажный корпус, мы обратили внимание лишь в конце пребывания в техникуме. Нацелились на древних – Плиний Старший, Сенека, Цицерон, Демосфен и многие другие. Но...кладезь этот не мог быть испит нами с большой пользой. Ох, как “петьки” были неподготовлены! Ведь ни тогдашняя школа, ни техникум об этих именах даже не упоминали».

Тот же педагогический техникум закончила будущая писательница Мария Прилежаева. Она вспоминала: «Общежитие техникума в бывшем монастыре Троице-Сергиевой лавры, студенты селились в монашеских кельях, сами их убирали, топили печи, правдой и неправдой добывая для топки дрова, иной раз свалив подгнивший крест монастырского кладбища; обедали в монастырской трапезной, где на стенах благостные лики святых, истории их жития, которым мы, яростные атеисты, дружно не верили».

По словам приятеля Алексея Мусатова, позднее тот так отзывался о периоде учебы в техникуме: «Настроены мои сверстники были довольно нигилистически к разного рода средневековым реликвиям. Да и со старожилами вели себя не совсем правильно. Обывателей в городе было

много – богословы духовной академии, попы, хозяйчики иконописных мастерских, лавочники. Все они большей частью нигде не работали, отсиживались по домам, занимаясь своим домашним хозяйством. Озорные, бойкие ребята их часто задирали, совершали набеги на сады, огороды за яблоками, огурцами...».

Вот на таких молоденьких деревенских ребят, оторванных от семьи, потерявших корни, обрушилась вся мощь советской пропаганды. И они стали ее проводниками. 18 апреля 1930 года Пришвин записал в дневнике:

«Мужики больше всего волнуются, что в делах хозяйственных им указывают ничего не понимающие мальчишки. Молодостью, невежеством при коротенькой политической натаске объясняется возникновение такого множества негодяев среди партийцев, строителей колхозов»...

ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ

О жизни в Сергиевом Посаде в 1930-е годы, свидетельств немного. Не то было время, чтобы вести дневники. И почти все, кто оставил нам воспоминания о Посаде 1920-х годов, в это время уже уехали из города по своей или не по своей воле. Но в 1933 году назначили заведующим Загорским филиалом библиотеки им. Ленина, бывшей библиотеки Московской духовной академии, Николая Николаевича Ильина (1885–1961). Он и написал впоследствии воспоминания о 1933–1936 годах, озаглавив их «Загорские были». В них есть сведения не только о процессе передачи библиотеки в Москву, но и наблюдения над состоянием Лавры и жизнью в городе. Вот отрывки из его воспоминаний:

«Август 1933 года. Монастырский посад Троице-Сергиевой лавры переименован в память моего нижегородского знакомого Володьки Лубоцкого, сложившего под кличкой Загорский свою голову на посту секретаря Московского комитета ВКП (б) во время взрыва в Леонтьевском переулке.

Монастырь давно закрыт. Монахи расплзлись: одни – куда глаза глядят, другие проследовали в среднеазиатские владения, или ближе к Полярному кругу, третьи – томятся в каменных мешках, с упорством призывая на новую власть громы земные и небесные; иные просто умерли. Жизнь в стенах лавры замерла. Не бухают басистые колокола, не доносятся из открытых церковных дверей звуки стройных молитвенных песнопений, не нарушают с шумом убежища от мирской суеты пестрые толпы богомольцев, прибывших к Преподобному, не шныряют всюду бойкие послушники, не плывут по аллеям, величаво опираясь на посох, бородатые старики в черных клобуках и мантиях. Рака с мощами преподобного Сергия давно вскрыта, и найденные в ней останки выставлены для назидания в антирелигиозном музее, которым объявлена лавра.

Первые годы революции сюда наезжали частенько экскурсии рабочих и школьников из Москвы, но и это постепенно приелось. Появляется изредка в лавре ветхозаветная фигура и, в ужасе озираясь вокруг, усердно крестится на закрытые храмы. Печать мерзости и запустения повсюду. От изгнания монахов до образования музея был период, когда разнообразный люд, вселившийся в кельи, сумел растащить монастырскую движимость, мебель, утварь и реликвии, имеющие утилитарную ценность, а ее не имевшие – попросту уничтожить. (Автор имеет, видимо, в виду утраты 1928 г. и позже. – Т.С.). Воспроизведение уголков отошедшего в вечность быта, предпринятые музеем наспех, без достаточных средств, напоминало убогую подделку. В Патриарших, например, Покоях, взамен похищенной расставили немало мебели из других монастырских помещений. Из ризницы и соборов, в связи с изъятием ценностей из церквей, вывезено много предметов культа из золота, украшенных драгоценными камнями, чем издавна славилась лавра. Величайшая художественная ценность – Троица, кисти мастера Рублева, передана в Московский исторический музей. (Ошибка мемуариста: передана в Третьяковскую галерею. – Т.С.). Старинные фрески в соборе потрескались и осыпались от сырости, ибо с 1918 года ни один собор не отапливался, не ремонтировался, не проветривался. Их огромные каменные своды начинали разрушаться. Один из соборов был обращен в склад строительных материалов и был наполнен бочками с известью, дегтем и варом, канатами, листовым железом, плитами асфальта, ящиками с гвоздями и пр. В небольшой часовенке внутри лавры торговали квасом и тощими бутербродами. В стене наглухо замурованной гробницы Годуновых зияет огромная брешь, которую сделали сгоряча для обследования, не погребены ли с представителями этой династии драгоценности. Кладбище внутри лавры с могилой И.С. Аксакова и других упразднено, и надгробия, опрокинутые, валялись в разных углах. В первый же приезд я обратил внимание, что какой-то дюжий малый дробит молотом надгробную плиту, превращая ее в щебень. То же продолжалось и днем позже. Осталось загадкой, почему энергия этого

человека была направлена на мрамор, когда кругом стен лавры лежали груды булыжника. Музеем заведовал тогда сумасшедший, через несколько месяцев навсегда водворенный на Канатчикову дачу. Стены исторической крепости, отражавшей татар и поляков, разрушались, никем не охраняемые. Кирпич бойниц осыпался и растаскивался обывателями на временные печи; деревянные навесы, двери и лестнички – на топливо. Когда-то щегольской белый корпус Московской Духовной академии смотрел жалобно грязными заплатами «остекленных фанерой» разбитых окон; штукатурка стен почернела от дыма торчащих из оконных форточек железных труб временных печурок; местами она вовсе осыпалась, обнажая дрань и войлок. Половина двустворчатой наружной двери давно сломана, и по всему зданию зимой и осенью гуляет ветер. Здесь ютится теперь педагогический техникум, и в аудиториях, где читали Горский, оба Голубинских и Ключевский, слышны истины другого порядка.

Разбитыми стояли окна верхнего этажа академической библиотеки, двухэтажного здания у лаврской стены, против Академии. Собрание свыше 400000 томов книг по богословию, философии, литературе и другим гуманитарным наукам, по составу и значению занимавшее седьмое место среди научных библиотек царской России, теперь бездействует и медленно разрушается.

С упразднением Академии ее библиотека была передана Румянцевскому музею и вместе с монастырской библиотекой Троицкой лавры сделалась Загорским филиалом Всесоюзной библиотеки имени В.И. Ленина. Функционировал филиал более чем слабо, обеспечивая группу местных музейных работников и преподавателей Педагогического техникума. Летом, когда библиотекарь пользовался двухмесячным отпуском, филиал стоял закрытым. Зимой же читальный зал не работал, так как с 1918 года помещение не отапливалось; абонемент для выдачи книг на дом открывался на час–полтора всего два раза в неделю. Осенью и особенно весной в нижнем этаже большого каменного здания скоплялось столько

сырости, что штукатурка с потолков осыпалась, мебель на клею распадалась на составные части, книги отставали от переплета, корешки их, словно инеем, покрывались плесенью, бумага гнила и обращалась в труху. Попытки проветрить помещение сводились к тому, что летом несколько раз открывалась на 2–3 часа часть окон, и ощутимых результатов, разумеется, не давали. Много расставленных внизу журналов и рукописных диссертаций было попорчено грибком сырости окончательно.

Зато на втором этаже все книги были в целости, благодаря проказам мальчуганов, которые, играя на монастырской стене, стреляли в верхние окна библиотеки из рогаток. Служивший уже 35 лет на этом месте в Академии и продолжавший теперь, как дракон, охранять свое сокровище престарелый библиотекарь К.М. Попов выскакивал на звон разбитых стекол наружу, но его брань и бессильные угрозы только воодушевляли шалунов. Камней и настойчивости у них было больше, нежели стекол для ремонта в запасе у Попова. Волей-неволей ему пришлось махнуть рукой. Зимой в здании был мороз, как снаружи, а весной и летом через разбитые окна вентиляция действовала непрерывно, и следов сырости на стоявших в верхнем этаже книгах не оставалось.

Вне стен лавры былого изобилия и многолюдства не стало. Приток богомольцев приостановился. Странноприимные дома, монастырская и частные гостиницы и номера, бесчисленные комнаты для ночлега паломников в обывательских домиках получили иное назначение. Не дымят снаружи у дверей пузатые самовары, не уничтожаются в “блинницах” на торговой площади у стен лавры груды жирных со сметками, творогом, грибами, сметаной, икрой и другой благодатью блинов; не переливается в утробы богобоязненных людей чистая, словно слеза, монополька, чередуясь с подозрительными шустовскими изделиями, под рыбку, подовые пироги, расстегаи, кулебяку и прочую снедь, опричь птичьего молока; не разносятся в воздухе ароматы ухи и селянки. Блинами на Руси объедались единожды в

год, на масленицу; у Сергия же преподобного круглый год была масленица. Всего, чего теперь уже нет, ни в сказках не скажешь, ни пером не опишешь!

Частная торговля воспрещена. Население сплошь кооперировано. В потребительских магазинах, смахивающих на пустой грязный сарай, в продаже плохо пропеченный хлеб, тюлька, сухая вобла, засоренный горох, колесная мазь, чайный напиток, зубной порошок, суррогатный кофе в разноцветных упаковках и т.п. На рынках ассортимент товаров несравненно разнообразнее, продавцы и покупатели рискуют оказаться в кольце облавы, так как ведется борьба со спекуляцией.

Жизнь в крохотных деревянных домишках как-то сжалась, стала скудней; прежних доходов нет; расчетливо и скупно проживается накопленное годами. Потребности сократились...

...По приезде в августе 1933 года в Загорск я прежде всего расспросил К.М. Попова о причинах оставления им места в библиотеке. Попов объяснил мне, что местные учреждения, особенно Педагогический техникум, давно добивались ликвидации филиала, чтобы занять его помещение; теперь же, когда вопрос о переброске книг в Москву окончательно решен, ему, Попову, не хочется принимать участия в разрушении дела, которому он посвятил 35 лет жизни. Действительно, через короткое время после моего назначения пришло распоряжение Ленинской библиотеки о вывозе книг.

Снимаемые с полок книги подсчитывались и упаковывались в запломбированные мешки, на подводах отвозились на станцию железной дороги и отправлялись в Москву в адрес книжного фонда Ленинской библиотеки.

Переброска полумиллиона книг по Загорску и Москве при дороговизне гужевого транспорта должна была обойтись недешево. Однако удалось войти в соглашение с организацией по постройке в Загорске оптико-механического завода («СтройЗОМЗ»), довольно часто отправлявшей порожняком в Москву грузовые машины за материалами, чтобы эти машины захватывали с собой из Загорска мешки с книгами и доставляли их в помещение фонда Ленинской

библиотеки. Кроме платы за перевозку груза, «СтройЗОМЗ» заручился негласным обещанием директора Ленинской библиотеки, что та не окажет активного противодействия попытке с его стороны занять помещение филиала, когда оно освободится от книг. Согласиться на это условие было тем легче, что библиотека не была заинтересована в судьбе филиала. Предполагалось, что он поступит в распоряжение Загорского музея, в ведении которого была охрана лавры, и коменданту которого я сдавал ключи запечатанного помещения библиотеки по окончании моего рабочего дня. Музей, в свою очередь, за новыми помещениями не особенно гнался, так как не мог содержать в порядке и те, которые у него были.

Отношения с музеем с самого начала были благожелательные. Напротив, техникум, с места в карьер занял враждебную позицию. При первой же погрузке книг в открытые двери библиотеки ворвалась группа воспитанников во главе с педагогом, который, кривляясь, заявил требование, чтобы я в короткий срок очистил здание и немедленно же выдал им книги, которые они отберут. Предложив с требованиями обращаться к директору Ленинской библиотеки, я попросил непрошенных гостей немедленно же очистить помещение, что было ими исполнено с бранью и угрозами

По формулярам читателей обнаружилось, что многие из абонентов, в том числе воспитанники и преподаватели техникума, не возвращают взятых ими книг по несколько месяцев и даже более года. Испросив у директора Ленинской библиотеки разрешение на закрытие личного абонеента и на выдачу книг только в порядке межбиблиотечного обмена, т.е. лишь библиотекам государственных учреждений для использования в их читальных залах, я немедленно же разослал абонентам повестки с предложением вернуть взятые книги к определенному сроку с указанием на ответственность по закону в случае невыполнения. Таким путем удалось вернуть часть взятых книг; остальное же пропало, так как многие абоненты по тем или иным причинам оставили Загорск. В число абонентов филиала вступили антирелигиозный музей, институт игрушки, педагогический

техникум и еще два-три местных учреждения. Одновременно с книгами на грузовых машинах вывозились в Москву в разобранном виде библиотечные шкафы и прочее оборудование.

Вся эта операция благополучно закончилась к осени 1936 года.

Когда верхний этаж был совершенно освобожден, «СтройЗОМЗ», вывезший накануне на своих машинах остатки находившегося там имущества библиотеки, рано утром, сорвав печать, занял под свою канцелярию пустое помещение, сообщающееся с наружным ходом лестницей. Составив при участии представителей музея соответствующий акт, я направил его директору Ленинской библиотеки, а копию – в загорскую милицию. Этим дело и ограничилось. Хо́да дальнейших перевозок это соседство не нарушило...

К осени 1936 года работа моя в Загорске подходила к концу. Библиотечные шкафы и мебель, за исключением поломанной безнадежно, – также вывезены. Остатки книг упакованы в запломбированные мешки и ждут транспорта. За день–два до отъезда я зашел за чем-то в местный исполком попрощался мимоходом с секретарем. “А как же книги?” – спросил он с удивлением. – “Книги я все целиком вывез в Москву”. – “Как же вы могли это сделать тайком, без ведома исполкома, который является их хозяином?” – грозно спросил властитель. Тут уже мне пришлось, в свою очередь, высказать удивление, как исполком в продолжение двух почти лет не замечал того, что открыто делается у него на глазах: вывезти полмиллиона томов не шутка! Что же касается права местной общественности на данное книжное имущество, то по этому поводу надлежит адресоваться к директору Ленинской библиотеки, по поручению которого я действовал. Был ли исполнен этот совет – не знаю, но “задний ум” загорских властителей развернулся во всем блеске. Исполком искони почитал дореволюционную книгу вредным хламом и во избежание греха стремился от нее избавиться. Неожиданно в этом незыблемом мировоззрении образовалась брешь: возникло течение, допускавшее между новой и старой культурой

относительную преемственную связь. Прежняя книга, вчера еще гонимая, презираемая и в качестве макулатуры сдававшаяся на перемол, получила рыночный спрос и ценность. Естественно, что и секретарь Загорского исполкома спохватился, но было уже поздно.

Придя на другой день к опустевшему зданию библиотеки, я обнаружил, что моя печать сорвана, замки дверей взломаны и в самом помещении копошатся какие-то люди, складывая грудями чьи-то мешки. Мешки с библиотечными книгами, подготовленные к вывозу, в полной сохранности и отгорожены барьером из сломанной мебели. Оказывается, ночью нижний этаж здания был захвачен явочным порядком под склад «Заготзерна». В милиции, куда я не замедлил представить копию акта о случившемся, меня спросили только, целы ли мои книги, и на утвердительный ответ заметили спокойно: “Тогда чего же вам волноваться?” При таких условиях волноваться, конечно, было незачем.

Разочарованный в несбывшихся надеждах на помещение и книги, Педагогический техникум устроил мне шумные проводы, организатором которых был уже знакомый кривляющийся педагог. Возглавляемая им группа воспитанников при встрече окружила меня. Осыпая упреками, будто бы я обездолил местную науку, вывезя принадлежащие ей по праву книги. Но совесть моя была совершенно чиста. Давно убедившись, что техникуму требуется всего 200–300 томов общераспространенных книг, которые без ущерба можно было бы ему передать, я неоднократно советовал заведующему учебной частью техникума обратиться с просьбой к директору Ленинской библиотеки непосредственно или через меня. Я добивался у них списка нужных им книг; они же хотели сами отобрать из имеющихся налицо то, что им приглянется. Допустить кого-либо к подобному отбору книг без особого разрешения директора я, разумеется, не мог. Время шло, педагоги медлили, по моему разумению, потому, что сами не знали хорошенько, что им нужно. Между тем переброска книг в Москву продолжалась. В результате

техникуму передано всего три-четыре десятка книг, в большинстве уже находившихся в их руках по абонементу.

Перед окончательным отъездом в Москву я совершил обряд, имевший лишь символическое значение: передал Загорскому музею ключи от здания бывшей библиотеки Московской Духовной академии».

Стоит добавить краткую справку о Н.Н. Ильине (1885–1961). Он был сотрудником Румянцевского музея. Его арестовали в 1930 году по так называемому «делу историков» (по этому же делу проходил и профессор Ю.В. Готье). Ильин отбыл срок ссылки на Урале, вернулся в Москву, но тут началась паспортизация населения. Ему в московском паспорте отказали. Пришлось покинуть столицу. Ильин уехал в Тверь. И, хотя летом 1933 года получил разрешение вернуться в Москву, видимо, понял, что в то время лучше было этим не пользоваться. Тут как раз оказался нужен человек на место библиотекаря Московской духовной академии Константина Михайловича Попова (1872–1954).

В 1937–1938 годах, как и по всей стране, в Загорском районе прошли массовые аресты. Часть арестованных была расстреляна на Бутовском полигоне. Подмосковное Бутово – одно из мест массовых захоронений расстрелянных в 1937–1938 годах. Это стало известно только в конце XX века, когда несколько человек составили группу по увековечению памяти жертв политических репрессий. Основная часть этих жертв – жители Москвы, Подмосковья и соседних областей. Расстрелы того времени были следствием решения Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937 года о проведении широкомасштабной операции по репрессированию целых групп населения. За ним последовал приказ за подписью наркома внутренних дел Н.И. Ежова по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. Под последними подразумевались члены антисоветских партий, бывшие «белые», чиновники царской России, церковники и др. Чуть позже последовали приказы об арестах германских подданных, как немецких шпионов, поляков, как шпионов-диверсантов польской разведки, затем

латышей, работников Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) вместе семьями как японских шпионов.

Арестованных привозили на полигон в закрытых машинах по 50 человек ночью. Непосредственно перед расстрелом сообщали приговор, ставили на краю заранее вырытого рва и стреляли в затылок. Тела сбрасывали в ров. Редко, когда за день казнили меньше 100 человек, а бывало и более 500. Рвы и сейчас видны на аэрофотокосмических снимках. Поистине это была фабрика смерти. В настоящее время установлены имена 21 тысячи убитых и зарытых на этом полигоне людей в период с августа 1937 по октябрь 1938 года.

Весной 1994 года на полигоне был установлен крест, исполненный по проекту скульптора Дмитрия Шаховского, (род. в 1928 г. в Сергиевом Посаде), сына убитого в Бутове священника Михаила Шика. А в 1996 году был освящен и деревянный храм в честь Новомучеников и исповедников российских, воздвигнутый также по проекту Шаховского. Потом был построен пятишатровый каменный храм на этой «Русской Голгофе».

О тех, для кого Бутово стало местом гибели, сведения занесены в компьютер Музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, по данным которого расстрелянных на Бутовском полигоне жителей Загорского и Константиновского, (позже присоединенного к Загорскому) районов было 84 человека. Солженицын считает мифом, что тогда арестовывали в основном членов партии. Действительно, и по нашему району таких захоронено в Бутове только 11%. А большую часть погибших составляло духовенство – 42% (священники, диаконы, монахи и монахини, в том числе тайные). Среди расстрелянных наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Кронид и его келейник, священнослужители церквей в Ахтырке, Бужанинове, Воздвиженском, Выпукове, Горшкове, Дерюгине, Екиманском, Мишутине, Малыгине, Озерецком, Пустом Рождестве, Подсосине, Сабурове, Сваткове, Спас-Торбееве, Стогове, Хомякове. Есть и руководители предприятий и организаций: директор Леспромхоза, директор

11-го завода, заведующий райсобесом, есть учителя, рабочие, крестьяне. Попали в число убитых и возчик с низшим образованием, и неработающий инвалид из крестьян, и сторож ГОРПО (Городского потребительского общества), и санитар, уничтоживший брошюру о выборах. Вообще лиц неграмотных, малограмотных и с низшим образованием среди рассматриваемого контингента было больше половины.

Самым распространенным обвинением было обвинение в антисоветской или контрреволюционной агитации и в участии в контрреволюционных группировках или организациях – 82% приговоров. По обвинению в шпионаже в пользу Японии, Польши и Эстонии было расстреляно 12%. При этом польскими и эстонскими шпионами стали поляки и эстонцы. А вот японскими – русские: два жителя Птицеграда и еще бухгалтер артели Майолик, якобы «подготовленный на военное время».

В числе убитых оказались те, кто высказывал сожаление по поводу расстрелянных «врагов народа», у кого обнаружили портреты лиц царского дома, а один человек (грузчик) даже за то, что неправильно назвал место своего рождения и отчество.

Вот судьба одного из тех, кто был расстрелян в Бутове – иеродиакона Афония (Александра Григорьевича Вишнякова, 1870–1938). Он родился в деревне Жостово Московского уезда Московской губернии в семье потомственных мастеров лаковой живописи. Основателем производства известных жостовских подносов, украшенных живописью в основном в виде цветов на черном фоне, был в начале XIX в. его двоюродный дед Ф.Н. Вишняков. Александр Вишняков получил навыки живописца в одной из семейных мастерских, где расписывал подносы и изделия из папье-маше. Затем он был пострижен в монахи в Троице-Сергиевой лавре. Имел послушание в иконной лавке, потом был переведен в иконописную мастерскую. После закрытия Лавры расписывал художественные изделия из жести, папье-маше, дерева – подносы, вазочки, шкатулки, карандашницы. Искусствовед А.В. Бакушинский в 1933 году писал: «Глубокий старик, но

живой и бодрый, А.Г. Вишняков дает замечательные по чувственной силе декоративные натюрморты. Они просты, яркие, непосредственны, артистичны по характеру образа, безукоризненно мастеровиты и оригинальны по приему». Бакушинский подчеркивал в его работах «жизнерадостную чувственность, непосредственное очарование наивного реализма». Художник работал в Загорской промартели в цехе горячей лакировки, передавая свое мастерство молодежи. У него также училась росписи шкатулок и т.п. мать художника В.А.Фаворского Ольга Владимировна. Иеродиакон Афоний был арестован в Загорске в январе 1938 г., осужден тройкой при НКВД по Московской области по обвинению в «активном участии в контрреволюционной группировке». Расстрелян 17 февраля 1938 в поселке Бутово Ленинского района Московской области – Бутовском полигоне.

Число жителей Загорского района, отправленных в тюрьмы и лагеря, неизвестно. Вот сведения о некоторых из них.

Беневоленский Николай Владимирович (1876–1941) родился в Москве в семье священника. Окончил Московскую духовную академию, преподавал богословие в Орловской духовной семинарии. В 1909 году был рукоположен в сан священника, служил в московских храмах. В 1929 г. семью выселили из Москвы. Жена с пятерыми детьми переехала в Сергиев Посад (Загорск). Им пришлось часто менять квартиры, испытывать холод и голод. В 1933 г. и сам о. Николай перебрался в Загорск, служил сначала в Вознесенской церкви (1933–1939), потом в Ильинской (1939–1940). Его дочь Вера вспоминала: «Когда папа ходил по улице, в него часто бросались камнями, сопровождая хулиганскими выкриками. На некоторое время ввели карточную систему, а мы были “лишенцами”, даже на детей не давали карточек. Хозяин нам выделил на своем участке две небольшие грядки, где мы сажали зелень. Летом мы ели зеленый лук, запивая его пустым чаем. Но Господь нас не оставил, всегда находились люди, которые поддерживали нас. Преданная моему дедушке московская прислуга иногда приезжала к нам и привозила куски хлеба, сухари и даже готовую кашу.

Бывало, папа принесет кусочек пиленого сахара, и мы делим его на пять частей. Но папа был большим оптимистом, он никогда не унывал. Всегда поддерживал маму, он ее очень любил и часто говорил: “Переживем, все будет хорошо”. Папа всегда сам ходил за водой на колонку (это было далеко), колол дрова и вообще всю тяжелую работу по дому делал сам, потому что мы были еще маленькие. Папа привез с собой из Орла самовар, который сопровождал нас всю жизнь. Он очень любил чай из самовара, чтобы тот кипел, и светились красные угольки. Бывало, сядет за самовар с богословской книжкой, он никому не давал разливать чай, за что мы его называли председателем чайной комиссии. А если есть к чаю сахар или молоко – это был верх блаженства!..

Однажды ночью (зимой) приезжают из деревни и просят причастить тяжело больную. Мама встревожилась, но папа говорит: “Я не имею права отказывать, а что, если человек не доживет до утра?!” Но Господь в таких случаях всегда хранил папу и давал ему силы ... А летом поспевала земляника, грибы. И мы все шли в лес, чтобы было из чего приготовить обед. Ходили мы по лесам часто, возвращались из леса усталые, голодные ... Но как-то с папой все переносилось легко, он все видел в розовом свете».

В 1935 году был арестован и сослан в Уфу сын о. Николая Владимир, скончавшийся в лагере в 1944 году. А в январе 1940-го арестовали и о. Николая. В постановлении на арест было сказано, что Беневоленский – племянник схимонаха Алексия, (речь шла о старце Алексие, схимонахе Зосимовой пустыни), что он «увлекает народ для бесед в темные углы, читает им неизвестные книжки, дает секретные наставления в “тихую”».

На допросе о. Николай отказался назвать верующих, приходивших к нему на исповедь. Его обвинили в том, что он «являлся участником контрреволюционной группы служителей культа и активных церковников г. Загорска, принимал участие в их собраниях, где подвергалась критике политика партии и Советского правительства, а также среди верующих проводил антисоветскую агитацию». (Ст. 58. п.10, ч. 1 и п. 2 УК РСФСР). Он

получил пять лет исправительно-трудовых лагерей и был отправлен в Карагандинский лагерь. Там у него началась гангрена ноги, и он скончался 15 мая 1941 года. О. Николай Беневоленский реабилитирован 21 декабря 1957 года. А в 2000 г. решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви причислен к лику святых.

О судьбе А.Н. Маясова, арестованного в 1937 году, рассказала автору его дочь Наталья Андреевна Маясова, крупный специалист в области древнерусского искусства, работавшая много лет в Загорском музее-заповеднике и Музеях Московского Кремля: «Папа работал бухгалтером на Загорском оптико-механическом заводе. Он не верил, что аресты могут быть просто так. Ведь многие тогда не верили. Когда его арестовали, меня не было дома – я сдавала экзамены в институт. Обыск и арест без меня были. Начальник Загорской тюрьмы был из той же местности, что и отец. И он не верил, что папа мог что-то сделать. Он передавал нам записки. Папа писал: “Никого не вините. Никто на меня не доносил, меня ни в чем не обвиняют. Когда я сказал, что всю жизнь честно служил советской власти, ответили:

– Мы это знаем. Но вы можете быть врагом советской власти, потому что у Вашего отца было имение, а Вы были офицером царской армии”.

Какой циничный ответ! Какое там имение! И ведь в царской армии он офицером был, не в Белой! В Белой никогда не служил.

Когда их увозили из Загорска, мама пошла на станцию. Они шли, окруженные солдатами с собаками. На перроне их поставили на колени, руки за голову. Погрузили в товарные вагоны. Оказались они в московской тюрьме, в Бутырках. Я с мамой или Валя с мамой приносили передачи. Очередь с узелками ... Это очень тяжело. Один раз не приняли передачу. А на другой день мальчишки принесли скомканную записку: “Нас везут на Восток”. Какие ребята молодцы! (Бросали записки из товарного вагона).

Получил отец 10 лет по статье 58, п. 10 с правом переписки. Пробыл год под Читой, там строили дорогу. Присылал все время письма. И мы имели право два раза в месяц посылать посылки – три килограмма. Мы маленький

ящичек покупали на почте, клали ломоть сала большой, баранки или сухари и сахар. Но из посылки третья часть доставалась охране, третья часть товарищам – многие не имели права получать посылки

Папа написал, что ему предлагали стать бригадиром, так как он бухгалтер. Он отказался: “Не хочу быть начальником над такими же несчастными”. После этого к нему стали хуже относиться. Он писал: “Очень холодно. Может быть, подошьте старые валенки и пришлите?”. В следующий раз послали валенки. Он получил. Писал: “Началась астма. Сплю сидя”. Прислал фотографию. У него была длинная седая борода. Писал: “Нам сегодня дали концерт. Мы все плакали навзрыд». В начале октября нам пришло письмо: “Вчера на больничной койке рядом со мной умер Андрей Николаевич Маясов. Умер он от воспаления легких. Конверт подписал сам и просил написать, когда умрет”.

Первое время, когда арестовали отца, я боялась ходить по центральной улице. Мне казалось, что я изгой. Потом привыкла».

ПЕРЕД ВОЙНОЙ («МОМЕТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ»)

Незадолго до последнего ареста побывал в Загорске бывший профессор церковного права Николай Николаевич Фиолетов (1891–1943, скончался в лагере) с женой. Позади уже были аресты, тюрьмы, ссылки ... Хотелось побывать возле Лавры, пожить в Посаде. «Но вот подошла весна 1941 года, – вспоминала его жена Н.Ю. Фиолетова. Занятия в школе кончились ... В один из свободных дней мы съездили в Загорск, побывали в Лавре. Лавра представляла собой печальное зрелище: все было в запущенном виде, храмы закрыты и разрушались, монастырские корпуса были заняты людьми, не имеющими никакого отношения к монастырю. Академический храм был превращен в дом учителя, где проходили конференции. Всюду на веревках сушилось белье, бегали ребятишки, с шумом катались на мотороллерах (так у автора – Т.С.) подростки. Сердце сжималось при виде мерзости запустения в этом священном для всякого русского (и не только православного) человека месте. Знаменательной казалась незаполненность одной из четырех сторон гранитного обелиска, стоящего в центре Лавры среди ее храмов: на трех сторонах обелиска были выгравированы страницы славной истории монастыря – описания постигавших его в прошлом бедствий. Глаза невольно останавливались на этой четвертой, незаполненной еще стороне, и воображение подсказывало, что можно было бы написать в назидание потомству на ней.

Подошли к Троицкому собору. По нашей просьбе привратник открыл нам его, мы вошли в запущенный, темный храм, осмотрели осыпавшиеся и разрушавшиеся фрески, подошли к опустевшей раке, молча постояли перед ней, как вдруг в храм вбежал маленький старый монах, проскочил мимо нас, бросился в земном поклоне перед ракой святого и также быстро и молча ушел. Потрясенные этой картиной, вышли и мы из храма. Денек был пасмурный, прохладный, изредка капал дождь. Мы отправились по

Вифанской улице по направлению к скитам. Лес только распустился, и листва была свежая, всюду буйно росла трава, но не было уже ни скита, ни семинарии. Одинокó стояла закрытая Черниговская церковь, а вокруг нее в монастырских зданиях ютилась беднота – те же веревки с бельем, те же голопузые ребятишки. Грустно, грустно, невероятно грустно. Что случилось со всей этой красотой, с покоем и тишиной освященного молитвой леса? Уже в сумерки подошли мы к дому одних старушек, к которым нам рекомендовали обратиться наши хорошие знакомые, узнав, что мы хотели бы провести лето в уголке, овеянном святыми воспоминаниями. Место действительно было очаровательное: уютные деревянные одноэтажные домики с садами и огородами, поросшая зеленой муравой улочка, косогор, откуда открывается вид на Черниговскую, Вифанию, Скитский лес. Внизу – знаменитые Вифанские пруды с чистой прозрачной водой, где монахи ловили некогда рыбу. Но и здесь была мерзость запустения: вода была спущена, пруды заросли травой и камышом, но общий вид оставался всё же прекрасным. Нам понравилось здесь, но старушки, несмотря на рекомендацию, отнеслись к нам подозрительно: что-то им в нас не понравилось, не внушило доверия, и они категорически отказали нам в сдаче комнаты. Так и не удалась наша попытка пожить в уделе преп[одобного] Сергия».

УСАДЬБЫ

Абрамцево

Абрамцево – старинную усадьбу Головиных, «с приятным местоположением и устроенным домом», расположенную верстах в 18 от Троице-Сергиевой лавры и верстах в 5 от Хотьковского монастыря, в 1843 году купил Сергей Тимофеевич Аксаков (1791–1859). Деревянный, одноэтажный дом с мезонином, построенный, возможно, еще в конце XVIII века, – один из немногих образцов деревянного провинциального классицизма, сохранившихся до наших дней. В нем нет торжественности классицизма столичного – он прост, уютен, соразмерен человеку. Неизвестный архитектор очень удачно поставил его на высоком берегу Вори, спускающемся искусственными террасами к воде. Если мысленно убрать поздние боковые пристройки, перед нами предстанет симметричное здание. Здесь нет почти обязательных для классицизма колонн. Но гармония пропорций, благородная простота соответствуют этому стилю. Об этом же говорит и такая деталь, как полукруглые итальянские окна в треугольных фронтонах. Перед домом широкий двор, ограниченный хозяйственными постройками. А с противоположной стороны балкон, откуда владельцы усадьбы могли любоваться прекрасным видом. Сейчас его частично закрыли разросшиеся деревья. Комнаты по-старинному идут анфиладой. Часть интерьеров сохранилась с аксаковских времен. В традициях позднего классицизма каждая комната имеет свой цвет: зеленый, голубой, светло-желтый, красный. И хотя в 1830–1840-х годах эпоха классицизма заканчивается, еще долго сохраняется в домах обстановка той эпохи: мебель, часы, люстры, как мы видим это в аксаковских комнатах.

В усадьбе шла тихая сельская жизнь с варкой варенья, сушкой грибов, заготовкой солений. У Аксакова было 14 детей – большая дружная семья, спаянная любовью и уважением. В ней хорошо чувствовали себя гости. Один

из них вспоминал, что «хозяева были так просты в обращении, так бесцеремонны и радушны, что к ним нельзя было не привязаться». Несколько раз в усадьбе жил Гоголь. Был он человеком бессемейным, даже бездомным – путником, нигде не задерживавшимся надолго. Гоголь нелегко сходил с людьми, особенно в конце жизни. Но когда он приезжал в Абрамцево, то оказывался окруженным такими любовью и вниманием всей семьи, что чувствовал себя свободно. Для него даже летом протапливали дом, потому что он всегда зяб. Никто не мешал ему тут работать. Он писал, читал, гулял по парку, собирал грибы. Порой читал вслух хозяевам особо понравившиеся места из книг.

Большое значение для Аксакова имело то, что усадьба стояла на речке. С малых лет он пристрастился к ловле рыбы на удочку. Вот как описывает он свою первую рыбалку: «... признаюсь, удочка так засела у меня в голове, что я не мог вполне почувствовать окружающую меня пышную и красивую урему. Как только мы напились чаю, я стал просить отца, чтобы он показал мне ужение. Наконец мы пошли, и Евсеич с нами. Он уже вырубил несколько вязовых удилиц, поплавки сделали из толстого зеленого камыша, лесы привязали и стали удить с плоту... Евсеич приготовил мне самое маленькое удилице и навязал тоненькую лесу с крючком; он насадил крошечный кусочек мятого хлеба и дал мне удилице в правую руку, а за левую крепко держал меня отец; в ту же минуту наплавок привстал и погрузился в воду. Евсеич закричал: “Тащи, тащи...”, и я с большим трудом вытащил порядочную плотичку. Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости. Я схватил свою добычу обеими руками и побежал показать ее матери. Евсеич провожал меня. Мать не хотела верить, что я мог сам поймать рыбу, но, задыхаясь и заикаясь от горячности, я уверял ее, ссылаясь на Евсеича, что точно я сам вытащил эту прекрасную рыбку».

Детство Аксакова прошло в имении отца в Оренбургской губернии. Его отец, небогатый помещик, любил и понимал природу и передал это понимание сыну. Аксаков писал о том, как это бывало: «Следы недавно

сбившей воды везде были приметны: сухие прутья, солома, облепленные илом и землей, уже высохшие от солнца, висели клочьями на зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно вымазаны также высохшей тиной и песком, который светился от солнечных лучей. “Видишь, Сережа, как высоко стояла полая вода?” – говорил мне отец; “Смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса; видно, он почти весь стоял под водою”».

Детские впечатления самые сильные. И вся жизнь человека, его характер в значительной мере зависят от того, каким было детство. Аксаков остро чувствовал с детских лет жалость ко всему живому. Вот одно из его самых ранних воспоминаний: «Один раз, сидя на окошке (с этой минуты я все уже твердо помню), услышал я какой-то жалобный визг в саду; мать его тоже услышала, и когда я стал просить, чтобы послали посмотреть, кто это плачет, что “верно, кому-нибудь больно”, – мать послала девушку, и та через несколько минут принесла в своих пригоршнях крошечного, еще слепого, щеночка, который, весь дрожа и нетвердо опираясь на свои кривые лапки, тыкаясь во все стороны головой, жалобно визжал, или скучал, как выражалась моя нянька. Мне стало так его жаль, что я взял этого щеночка и закутал его своим платьем. Мать приказала принести на блюдечке тепленького молочка, и после многих попыток, толкая рыльцем слепого кутенка в молоко, выучили его лакать. С этих пор щенок по целым часам со мной не расставался; кормить его по несколько раз в день стало моей любимой забавой; его назвали Кутькой, он сделался потом небольшой дворняжкой и жил у нас семнадцать лет, разумеется, уже не в комнате, а на дворе, сохраняя всегда необыкновенную привязанность ко мне и к моей матери».

И уже в старости Аксаков писал: «Я никогда не мог равнодушно видеть не только вырубленной роши, но даже падения одного большого подрубленного дерева, в этом падении есть что-то невыразимо грустное...

Многие десятки лет достигало оно полной силы и красоты – и в несколько минут гибнет нередко от пустой прихоти человека».

К ранним тяжелым впечатлениям детства относятся впечатления, связанные с крепостным правом. Аксаков писал, как он впервые пришел с отцом на мельницу, принадлежавшую одной богатой их родственнице: «...долго простояли мы в мельничном амбаре, где какой-то старик, дряхлый и сгорбленный, которого называли засыпкой, седой и хворый, молот всякое хлебное ухвостье для подсыпки господским лошадям; он был весь белый от мучной пыли; я начал было расспрашивать его, но, заметя, что он часто и задыхаясь, кашлял, что привело меня в жалость, я обратился с остальными вопросами к отцу ... Когда мы вышли из мельницы, то я увидел, что хлебная пыль и нас выбелила, хотя не так, как засыпку. Я сейчас начал просить отца, чтоб больного старичка положили в постель и напоили чаем; отец улыбнулся и, обратясь к Миронычу, (старосте. – Т.С.) сказал: “Засыпка, Василий Терентьев, больно стар и хвор, кашель его забил, и ухвостная пыль ему не годится; его бы надо совсем отставить от старичьих работ, и не наряжать в засыпки”. – “Как изволите приказать, батюшка Алексей Степаныч, – отвечал Мироныч, – да не будет ли другим обидно? Его отставить, так и других надо отставить. Ведь таких дармоедов да лежебоков много. Кто же будет старичьи работы исполнять?”»

Аксаков в конце жизни решил освободить своих крестьян и написал об этом письмо царю. Он писал, что «уничтожение крепостного права становится неизбежным» и настаивал на скорейшей его отмене. Жаль, что ему не суждено было дожить до великой реформы 1861 года и других реформ Александра II. Ведь за крестьянской реформой тогда последовал целый ряд других, в частности реформа воинской повинности. Раньше в России в армию набирали по жребию, и солдат служил 25 лет. Дочь Аксакова Вера описала в дневнике случай, произошедший в Абрамцеве. Когда одного человека надо было отправить в солдаты, крестьяне сделали выбор сами. Но страх перед солдатчиной был такой, что человек изуродовал себе лицо, лишь

бы не идти в армию. Это произвело крайне тяжелое впечатление на всю семью Аксаковых. Реформа 1874 года установила всеобщую воинскую повинность со сроком службы 6 лет.

Приехав в Абрамцево, Аксаков полюбил эту местность. Вот отрывок из одного его письма: «...теплая осень, особенно тихая и слегка дождливая, производит на меня глубокое впечатление, конечно, грустное, но сладкое в то же время: именно сегодня такой день. Все пожелтело, тихо падают листья, вода изменила свой цвет, осенняя птичка подлетела к дому и села... Бегу сейчас на реку, разложу свои удочки, закурю сигару и сяду, – и где сяду, и что стану думать, чувствовать, – не знаю, но чувствую жажду к этому нравственному состоянию».

Смолоду Аксаков интересовался литературой, писал критические литературные и театральные заметки, басни, фельетоны, очерки. Но стал настоящим, признанным писателем только в Абрамцево, на шестом десятке лет. У него стало слабнуть зрение. Читать стало трудно. И Аксаков всерьез взялся за перо. Сидя на берегу Вори с удочкой, он задумал написать книгу об этом занятии. Ею стали «Записки об уженье рыбы», вышедшие в 1847 году

«Записки» имели большой успех. Один из современников вспоминал, что, приехав в Абрамцево, он увидел в сенях огромное количество разнообразных удилиц. Оказалось, что все это подарки от благодарных читателей. А про речку Ворю, на которой стоит Абрамцево, стали говорить: «аксаковская Воря». Высоко оценил книгу и Гоголь. Успех окрылил старого писателя, и следующее произведение он посвятил охоте. Во время работы над этой книгой в письме сыну Ивану Аксаков писал: «Скверной действительности не поправить, думая о ней беспрестанно, а только захвораешь, и я забываюсь, уходя в вечно спокойный мир природы». Эпиграфом к «Запискам ружейного охотника Оренбургской губернии» он взял свои стихи:

*Ухожу я в мир природы,
В мир спокойствия, свободы,
В царство рыб и куликов;
На свои родные воды,
На простор степных лугов,
В тень прохладную лесов
И – в свои молодые годы.*

Но эпитафия был запрещен цензурой – смутило слово «свобода». Книга была принята читателями с восторгом. Высоко оценил ее Тургенев: «Когда я прочел главу о тетереве, мне показалось, что лучше тетерева жить невозможно ... Если бы тетерев мог рассказать о себе, он бы, я уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал Аксаков. То же самое можно сказать о гусе, утке, вальдшнепе, словом обо всех птичьих породах, с которыми он нас знакомит». Это была похвала не только писателя, но и автора «Записок охотника». Но, может быть, еще важнее было то, что Тургенев отметил отношение Аксакова к природе. Он писал, что автор «смотрит на природу (одушевленную и неодушевленную) не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а так, как на нее смотреть должно: ясно, просто и с полным участием; он не мудрит, не подкладывает ей посторонних намерений и целей ... А перед таким взором природа раскрывается и дает ему “заглянуть в себя”». И, хотя писатели были идейными противниками – Аксаков был славянофилом, Тургенев – западником, они подружились, и Тургенев дважды гостил в Абрамцеве.

Но главное место в наследии Аксакова занимает автобиографическая проза. Может быть, особое обаяние таких его произведений как «Детские годы Багрова-внука» и «Семейная хроника» связано с тем, что они не написаны, а рассказаны. У писателя в 1850-х годах было уже настолько ослаблено зрение, что он диктовал, а дочери записывали. И сам он называл себя «рассказчиком» действительных событий. Все получалось так живо, так

ярко и в то же время просто, что эти книги, в которых нет вымысла, читаются с захватывающим интересом. Такой литературы до Аксакова еще не было.

«Детские годы Багрова-внука» – первая русская книга, написанная о детстве. Раньше писатели не уделяли этому периоду внимания, считая его просто подготовкой к взрослой жизни. Аксаков первым понял, какое это интересное время, и как много оно значит для формирования характера человека. Он посвятил эту книгу своей внучке, и написана она прежде всего для детей

В.А.Солоухин писал об этом произведении: «Просто живет маленький мальчик Сережа, живут вместе с ним его сестрица, его отец и мать, его дедушка и бабушка и много других людей, с которыми ему пришлось познакомиться с ранних дней своего детства; живут они все в глухом тогда уголке России, среди русской природы, живут незатейливой, неторопливой жизнью, свойственной тому времени, ...живут и не знают еще, что каждый почти шаг их жизни будет известен впоследствии грядущим поколениям, ...во все времена, пока существуют на земле русский язык и русские люди».

К книге приложена была сказка «Аленький цветочек». И снова тот же подход: писатель не сочинял – он просто записал сказку так, как ему рассказала ключница Пелагея.

Старшие сыновья Аксакова – Константин и Иван, как и отец, были идеологами славянофильства и друзьями таких известных славянофилов, как А.С. Хомяков, братьев Киреевские, Ю.Ф. Самарин. С 30–40 годов XIX века в среде дворянства нарастало недовольство существующим строем. Но пути обновления России представлялись людям по-разному. Славянофилы считали, что Россия не должна подражать Западной Европе, что следует опираться на допетровские традиции. Идеализируя прошлое отечества, они считали русский народ в отличие от народов Запада носителем высокой духовной культуры. Даже в одежде некоторые из них стремились вернуться в XVII век. Так, Сергей Тимофеевич и его сын Константин отпустили бороды. С.Т. Аксаков ходил дома в русском «полукафтани», а Константин Сергеевич

стал выходить на московские улицы в расшитом кафтане, сапогах, меховой шапке-мурмолке. В таком наряде он стал появляться и в московских салонах. Бороды отпустили и некоторые другие славянофилы. Тогда Николай I приказал министру внутренних дел издать специальный циркуляр, запрещавший русским дворянам носить бороды. С.Т.Аксаков писал в 1849 году шефу жандармов графу Орлову: «Я и старший сын мой носим бороды вместе с русским платьем. Борода составляет необходимую принадлежность русской одежды: сбрить бороду – значит скинуть русскую одежду», и просил разрешения переехать навсегда в деревню, но не сбривать бороды. Все было напрасно – сбрить бороды пришлось

Трудно происходил поворот от европейских к исконно русским обычаям. Не только у императора, но и у народа это не встретило тогда понимания. Герцен писал: «Во всей России, кроме славянофилов, никто не носит мурмолок, а К. Аксаков оделся так национально, что народ на улицах принимал его за персианина». Но прошло несколько лет, и в жизни России возобладали славянофильские тенденции. И к бороде отношение изменилось. В начале царствования Александра II последовало снова распоряжение, запрещавшее носить дворянам бороду и национальное платье, а уже его сын Александр III и внук Николай II сами носили бороду.

Итак, Аксаков был одним из первых, кто обратил внимание на русскую национальную культуру. Но и следующий владелец Абрамцева проявил огромный интерес к русской культуре, к русскому искусству. Прошло несколько лет после смерти С.Т. Аксакова, и его дочь Софья решила Абрамцево продать. В 1870 г. усадьбу приобрел Савва Иванович Мамонтов (1841–1918), сын богатого купца, строителя Северной железной дороги и сам строитель железных дорог, человек разносторонне одаренный, знаток и ценитель искусства. Он пел, играл в любительских спектаклях, занимался скульптурой, но главным было его умение объединять людей искусства, вдохнуть в них энергию. Немало способствовала созданию творческой атмосферы в доме и его жена Елизавета Григорьевна. И вот в старом

абрамцевском доме создалось объединение художников, вошедшее в историю русского искусства под названием «Абрамцевский художественный кружок». В него входили В.Д. Поленов, И.Е. Репин, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров, М.А. Врубель, К.А. Коровин, В.И.Суриков, И.С. Остроухов, В.А. Серов, М.М. Антокольский. Оказалось, что легкая дружеская обстановка, возможность повседневного общения людей, увлеченных искусством, очень способствует творческой работе. Даже такой нервный человек как Михаил Врубель, вступавший в конфликты со многими, обретал в семье Мамонтовых равновесие. Как родной жил у Мамонтовых Валентин Серов, попавший в эту семью еще ребенком.

Художественный кружок начался с увлечения театром, с домашних спектаклей. Часть пьес для них написал сам Савва Иванович Мамонтов. К.С. Станиславский так описывал атмосферу такого спектакля: «День спектакля был содомом. Всё опаздывало, ролей не успевали выучить; Савва Иванович сам ставил декорации, освещал их, дописывал пьесу, режиссировал, играл, гримировал; при этом шутил, веселился, восхищался, сердился». Из этих любительских спектаклей в дальнейшем родилась Русская частная опера Мамонтова. Он первый заметил и «вывел в люди» великого певца Федора Шаляпина. Ярko проявились дарования Коровина, Врубеля и других художников в мамонтовском театре. Театрально-декорационными работами участников абрамцевского кружка открылась новая эпоха в истории русского театра.

Живописные работы художников, созданные в Абрамцеве, очень разнообразны. Одной из самых известных стала картина Валентина Серова «Девочка с персиками» – портрет дочери владельца усадьбы Веры Мамонтовой (1887). «Я хочу, хочу отрадного и буду писать только отрадное», – это слова из письма Валентина Серова, присланного из Венеции. И он нашел отрадное в абрамцевской усадьбе, у Мамонтовых. Портрет Веры Мамонтовой дышит радостью. Эта радость и в розовой кофточке девочки, и в ее небрежной, такой «невзрослой» прическе, и в

солнечном свете, льющемся в окно сквозь зеленые листья, и в персиках, разбросанных на белой скатерти стола – персиках из собственной оранжереи. Об этой работе сам художник писал: «Все, что я добивался, это свежести, той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в природе и не видишь на картине». А известный художник и искусствовед Игорь Грабарь отозвался о картине так: «Мы никогда не видали в картинах ни такого воздуха, ни света, ни этой трепещущей теплоты, почти осязательности жизни».

Мысль о том, что искусство должно быть отрадным, была и у В.Д. Поленова. «Мне кажется, – писал он, – что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит. В жизни так много горя, так много пошлости и грязи, что если искусство будет тебя сплошь обдавать ужасами и злодействами, то уже жить станет слишком тяжело». И в Абрамцеве художник написал много этюдов солнечных и радостных.

Особенное настроение природы Абрамцева поразило М.В. Нестерова. И еще для него оказалась очень важной близость к Радонежу и к Сергиевому Посаду. Именно в Абрамцеве возник у художника замысел известнейшей его картины «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890), посвященной отроческим годам будущего великого подвижника русской земли Сергия Радонежского: «Как-то с террасы абрамцевского дома моим глазам неожиданно представилась такая русская, русская красота: слева лесистые холмы, под ними извивается аксаковская Воря, там где-то розовеют дали, вьется дымок, а ближе капустные малахитовые огороды. Справа золотистая роща. Кое-что изменить, добавить, и фон для “Варфоломея” такой, что лучше не придумаешь. Я принялся за этюд, он удался, И я, глядя на этот пейзаж, проникся каким-то чувством его подлинной “историчности”».

Возможно, если бы Виктор Васнецов не приехал в Абрамцево, мы знали бы его только как художника-жанриста. Здесь, в Абрамцеве, началась совершенно новая страница в его творчестве: у него возник интерес к русской истории, русской бытине, сказке. Здесь он работал над картиной «После побоища Игоря Святославовича с половцами» (1880), неподалеку, в

Ахтырке, написал свою знаменитую «Аленушку» (1881). «Абрамцевские дубы надоумили меня, как надо писать “Богатырей”, – писал Васнецов, – Я только хочу сохранить родную старину, какой она живет в поэтическом мире народа: в былинах о трех богатырях, в песне о вещем Олеге, в сказке об Аленушке».

Художественный кружок возник в то время, когда в обществе усилился интерес к истории России, к русскому национальному искусству, фольклору, древнерусскому зодчеству, что сказалось не только на творчестве художников кружка, но и на облике усадьбы. Однако в то время изучение русского народного искусства только начиналось, и понимание его сути было достигнуто не сразу. Это можно видеть по парковым постройкам 1870-х годов: студии-мастерской для занятия скульптурой и бане-теремке. Их авторы – архитекторы В.А. Гартман (1834–1873), и И.П. Ропет (1845–1908), были представителями того направления «русского» стиля, который стали называть неофициальным или демократическим. Вдохновение эти архитекторы черпали из крестьянской архитектуры и прикладного народного искусства. Обе постройки деревянные, обильно украшены резьбой, но очень далеки от настоящего народного искусства. Сам Мамонтов через некоторое время, уже поняв, что эти строения в псевдорусском стиле не представляют большой ценности, не включил их изображения в подборку фотографий Абрамцева, помещенную в журнале «Мир искусства». Гораздо органичнее вписалась в парк созданная по проекту Виктора Васнецова «Избушка на курьих ножках». Она представляет собой миниатюрное повторение настоящей русской избы – срублена из бревен «в обло», то есть из круглых бревен с выпущенными концами. Сделано в ней и волоковое окошечко, а кровельный тес придавлен бревном-охлупнем с коньком. Сказочность придают изображения летучей мыши и совы на фронтонах.

В начале 1880-х годов в Абрамцеве возникла мысль о постройке церкви. Проект в стиле древней русской архитектуры был разработан Поленовым и Васнецовым. За основу был взят общий облик новгородского

храма Спас-Нередицы XII века, но звонница скорее псковского типа, а окно на южной стороне скопировано с окна дворца в Боголюбове под Владимиром. Церковь крыта не по законам, как древние церкви, а имеет простую четырехскатную кровлю. Дело в том, что почти все древние церкви при ремонтах получали такие кровли. И только в XX веке при реставрации многим из них был возвращен первоначальный облик. Несмотря на сочетание разных архитектурных прообразов, здание церкви получилось цельным, его формы кажутся древними. Только выпадают из общего стиля веселые разноцветные изразцы, которыми украшен мощный барабан церкви. Строительство церкви завершилось в 1882 году, и она была освящена во имя образа Спаса Нерукотворного. В иконостасе работы Поленова, Васнецова, Репина и других художников. К церкви после смерти сына Мамонтовых Андрея была позже пристроена часовня по проекту Виктора Васнецова.

Однажды, гуляя в окрестностях Абрамцева, Репин и Поленов увидели на фасаде одной избы в Репихове резную доску. Они ее купили. Так в усадьбе начала складываться коллекция предметов русского народного искусства. Скоро коллекционирование захватило многих членов абрамцевского кружка. Особенно много сделали в этом направлении Е.Г. Мамонтова и Е.Д. Поленова. Они искали образцы художественных изделий в окрестных деревнях, ездили в Ростов Великий, Ярославль, Кострому и другие местности. А в 1885 году в кабинете Мамонтова был открыт первый в России музей русского народного искусства. Это была небольшая, но хорошо подобранная коллекция домового резьбы, деревянных солонки, ковшеи, вальков, рубелей, прялок, туесов, пряничных досок, игрушек, а также набойки, глиняной посуды, изразцов и пр.

В пореформенной России крестьянское искусство быстро исчезало, наступало время фабричного производства. Члены Абрамцевского кружка хотели не только сберечь, но и развить кустарное художественное производство. Как нельзя лучше пригodiлось им то, что Е.Г. Мамонтова открыла в усадьбе школу для крестьянских ребят, а при школе столярную

мастерскую. Художественным руководителем мастерской вскоре стала Елена Дмитриевна Поленова (1850–1898). Она говорила: «Цель наша – подхватить еще живущее народное творчество и дать ему возможность развернуться». Мастерская стала выпускать украшенные резьбой шкафчики, полочки, мебель. Эти вещи вошли в моду и находили некоторое время хороший сбыт. Однако далекие от подлинного народного искусства изделия, производство которых к тому же нельзя было механизировать, большого будущего не имели. Интересно сравнить судьбу абрамцевской кустарной мебели с судьбой матрешки, которая стала настоящей русской народной игрушкой. Художник С.В. Малютин, который считается (вместе с токарем Звездочкиным) создателем матрешки, некоторое время работал в усадьбе княгини М.К. Тенишевой в Талашкине под Смоленском. Там также делались попытки развить кустарное производство мебели в русском стиле, но результаты оказались столь же мало удачными. А вот матрешке повезло необычайно. Возможно, это объясняется тем, что при создании матрешки художник не был связан с образцами русского народного искусства. Он имел больше свободы для творчества и только в какой-то мере использовал идею японской игрушки. И еще имело, видимо, значение то, что форма была токарная – частично производство можно было механизировать. Долгое время в Сергиевом Посаде выпускали матрешку, называвшуюся загорской, по тому имени, которое носил Сергиев Посад с 1930 до 1991 года. Это была яркая, радостная игрушка, расписанная чистым звучным цветом. В конце XX века возобновилось производство дорогой авторской матрешки-сувенира. Так, чуть более ста лет назад, возник новый художественный промысел.

В Абрамцеве был создан и новый стиль резьбы. И автором его стал вовсе не профессиональный художник, а один из учеников школы-мастерской. Детей обучали в основном геометрической резьбе, а Василий Ворносков (1878–1940) из деревни Кудрино проявил выдающиеся способности к самостоятельной творческой работе. Эту плоско-рельефную резьбу, заполняющую всю плоскость изделия почти без фона, называют

часто абрамцевско-кудринской. Узор состоит из лапчатых листьев, иногда с включением изображений животных, и полируется. Местные мастера освоили этот стиль. Были организованы несколько артелей в окрестных селах, потом в городе Хотьково была открыта фабрика резных художественных изделий, выпускавшая в основном небольшие вещи – шкатулки, декоративные блюда и пр.

В Хотькове существует также Абрамцевский художественно-промышленный колледж, являющийся в известной степени продолжателем столярной школы-мастерской в Абрамцеве. Он носит имя В.М. Васнецова.

В Абрамцеве С.И. Мамонтов основал и гончарную мастерскую. Художники занялись в ней майоликой, то есть изготовлением изделий из обожженной глины, покрытых цветными глазуриями. Начали они с печных изразцов. Несколько печей, облицованных изразцами, мы и сейчас можем видеть в усадебном доме. Делали также вазы и скульптуру. В этих работах принимал участие и сам Мамонтов, и художники Серов, Полenov, Коровин, Васнецов. Но особенно увлекся керамикой Врубель. Он стремился выразить свою беспокойную мысль и порывистую душу в новых формах. Картины Врубель писал в условной манере, усиливая декоративность. Так было и в тех случаях, когда он создавал произведения прикладного характера. Примером этого является каминный экран «Князь Гвидон и Царевна-Лебедь»(1890-е годы), сделанный им для абрамцевского дома. Эта работа близка его картине «Демон» (сидящий). То же задумчивое, печальное и гордое лицо, те же колоссальные цветы, как будто созданные из драгоценных камней. Тот же фантастический, сказочно-прекрасный и словно окаменевший мир. Художник использовал в работе над экраном бронзовую и серебряную краску. Позднее он применил их в картине «Демон поверженный». К сожалению, такие краски тускнеют со временем, и мы не можем видеть эти произведения художника, какими они были раньше.

При создании майолики иногда получают изделия с металлическим блеском глазури. Их браковали. Но Врубель посмотрел на это иначе. Его

всегда привлекли блеск металлов, переливы драгоценных камней. Он увидел не брак, а новый декоративный эффект. Мастеру П.К. Ваулину удалось разработать технологический процесс, при котором в результате восстановительного обжига изделия получают металлический переливающийся блеск, называемый люстром. В такой технике Врубель создал серии скульптур на темы опер Римского-Корсакова «Снегурочка» и «Садко». Эти оперы были особенно близки Врубелю, потому что в них на сцене частной оперы Мамонтова пела его жена Н.И. Забела-Врубель. Из скульптурных работ Врубеля одной из самых интересных является голова львицы. В ней хорошо видно его умение стилизовать натуру. Образ львицы получился величественным и прекрасным. Чем-то он напоминает древнеегипетскую скульптуру.

В отличие от Поленовой Врубель, хотя и использовал в своем творчестве мотивы народного искусства, но перерабатывал их так, что получались оригинальные декоративные произведения. Его работы – новая страница в русском прикладном искусстве. О Врубеле так писал один из искусствоведов: «Врубель никогда не смотрит на действительность, думает только о том, что могло бы быть в жизни ... Бредит красками – черной, сиреневой, золотом, небом, закатом, опалами. Творчество его, как симфония беспредельного, как вечернее закатное небо».

Много изменений принесло время в абрамцевский парк при Мамонтовых. Был сделан насыпной участок сада, получивший название «Таньонов нос» по имени гувернера-француза. На этом участке поставили майоликовую скамью Врубеля. Появились в парке половецкие «каменные бабы» – их привез Мамонтов с юга, когда занимался строительством Донецкой железной дороги. А деревья туи, по-видимому, связаны с Е.Г. Мамонтовой. Совсем юной, еще до замужества, она путешествовала по Европе, побывала и на могиле В.А.Жуковского в Баден-Бадене. Этого поэта она особенно любила и постоянно читала. С дерева туи на могиле

Жуковского она сорвала веточку и вшила в свой альбом. Предполагают, что поэтому и были посажены в парке туи.

Оранжереями занимался садовник М.А. Редькин. Как вспоминала Е.А. Самарина-Чернышева, он «был хорошим садовником, и под его рукой сохранялась оранжерея с чудными чайными розами. Это было целое дерево, которое разветвилось по всему потолку, решеткам. Там же были первоклассные персики, которые попали на знаменитую картину Серова «Девочка с персиками». Много цветов выращивалось в этих двух оранжереях: чудесные гиацинты, небольшие сирени, разноцветные цинерарии – этими цветами украшалась большая столовая в доме на Пасху. Вокруг дома летом были красивые клумбы с довольно неприхотливыми цветами: большие гряды многолетних центифольных роз. По уступам около большой террасы и вдоль дорожки от дома к церкви и оранжерее много было однолетних и многолетних цветов: левкой, душистый горошек, табак, настурции; на «Таньоновом носу» – крупные красные маки и темно-синие лупинусы; а под окнами дома по фасаду – в изобилии белые флоксы».

Об Абрамцеве, о годах, когда жили в нем Мамонтовы написано немало. Но впечатления о жизни, усадебной жизни, наверное, ярче всего передали те, кто жил там в детстве: Николай Адрианович Прахов, сын одного из участников Мамонтовского художественного кружка, и Елизавета Александровна Самарина-Чернышева, дочь «Девочки с персиками» – Веры Мамонтовой. Н.А. Прахов вспоминал о привольной абрамцевской жизни: «Утром, когда хотели, пили чай или молоко у себя либо в большом доме, где огромный самовар долго не сходил со стола. Потом каждый занимался своим делом – кто отправлялся на этюд, кто работал в мастерской или столовой, где Репин лепил дядю Савву, а дядя Савва – Репина. Кто отправлялся с детьми на прогулку, кто купаться или ловить рыбу, кто кататься на лодке. Только два раза в день большой стационарный колокол, висевший около кухни, своим трехкратным, продолжительным звоном призывал всех абрамцевских жителей к завтраку – в 12 часов, и к обеду – в 6 часов. К утреннему и

дневному чаю приходил, кто хотел, а к вечернему собирались все вместе, без зова».

Помимо яркого описания прогулок в лес и веселых пикников, в воспоминаниях Прахова мы находим сведения о том, как была построена «Избушка на курьих ножках. «Тете Лизе (Елизавете Григорьевне Мамонтовой. – Т.С.) захотелось построить какую-нибудь беседку в старом парке над просекой к Воре, с широким спуском, открывавшим вид на речку и старый еловый монастырский лес. Виктор Михайлович Васнецов сейчас же сочинил для нее рисунок в виде сказочной избушки Бабы-Яги и сам принялся руководить постройкой – учить приглашенных на работу плотников складывать сруб по картинке. Это была не та обычная беседка, которой украшались помещичьи усадьбы, хорошо знакомая крестьянам-плотникам. И Виктору Михайловичу приходилось не только объяснять на словах свой рисунок, но порой и самому брать в руки топор и работать...

Беседка получилась оригинальная, сказочная и уютная. В ней всегда было прохладно, и это привлекало любителей уединения из взрослых, гостивших в Абрамцеве, и детей, которым было здесь удобно играть в казаки-разбойники или в обыкновенные прятки...».

Сохранил для нас Прахов и историю строительства церкви в Абрамцеве. «Ближайшими были сельская церковь в Ахтырке и собор в хотьковском монастыре, куда Мамонтовы иногда возили своих ребят, а на Пасху обязательно ездили всей семьей. Как-то раз случилось, что ранний весенний разлив Вори помешал этой поездке – снесло ветхие мосты, не мог приехать на дом священник из Ахтырки. Это стихийное бедствие дало идею построить свою домовую церковь в Абрамцеве. Но не какую-нибудь простую, банальной архитектуры деревенских деревянных церквей, а каменную, и при том художественную, стильную. Объявлен был домашний конкурс, в котором приняли участие В.Д. Поленов, В.М. Васнецов и мой отец – А.А. Прахов. Жюри состояло из всех гостивших в то время мамонтовских друзей и самих хозяев. Лучшими были признаны проекты Виктора

Михайловича Васнецова и Василия Дмитриевича Поленова. Оба они взяли в основу простые, каменные, одноглавые псковские церкви – размером и формой хорошо вязавшиеся с окружающей природой. Проект моего отца был в московско-ярославском стиле и больше подходил для города, чем для парка, в котором выбрали место, густо заросшее старыми елями, часть которых пришлось срубить, к большому огорчению тети Лизы, дорожившей каждым деревом, видевшим Аксакова и Гоголя.

В самом начале постройки нас, детей, близко к этому дереву не подпускали из опасности возможности какого-нибудь несчастного случая. Мы только издали слышали стук топоров и видели, как падали вековые ели, шурша своими густыми ветвями ... Только когда приехали гостить у Мамонтовых на следующее лето, мы с моей старшей сестрой Лелей увидели в первый раз готовую церковь Васнецова и Поленова, каким-то чудом выросшую на том месте, где раньше так густо росли деревья. Летнее солнце, стоявшее уже довольно высоко, заливало ее белые стены своими теплыми лучами, а старые липы и ели, через которые оно пробивалось местами, внизу покрывали эти стены кружевом какого-то причудливого узора...

В постройке и отделке этой крошечной церкви принимали участие все обитатели Абрамцева. Тетя Лиза – в то время когда мы с Лелей работали над валиком входа – стояла на более высоком помосте и вырубала орнамент тройного бокового окна по рисунку Виктора Михайловича Васнецова. А он в это время выкладывал цветными камешками на сыром цементном полу огромный фантастический цветок своего сочинения. Марк Матвеевич Антокольский вырубил при нас из грубого песчаника голову Иоанна Крестителя, лежащую на блюде. Она вставлена под северным тройным окном. Резной и раскрашенный иконостас по рисунку Васнецова был исполнен в недавно созданной резчицкой мастерской и заполнен образами, которые написали Н.В. Неврев, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов и И.Е. Репин. Каждый – по-своему, и каждый – от души. Перед Виктором Михайловичем Васнецовым, вложившим много художественной изобретательности и труда

в постройку и внутреннее убранство церкви, стал вопрос: чем украсить деревянные клиросы? Выручили дети, повадивавшиеся забегать в церковь посмотреть, что там сделано нового, и приносившие обычно цветы работающим. Этими бесхитростными цветами украшены клиросы.

Так, благодаря случайности необыкновенно сильного разлива скромной речки Вори, упоминаемой в древних летописях как полная бобрами и выдрами, а в то время, к которому относится этот рассказ, только мелкой рыбешкой и лягушками, так, творческим порывом многих талантливых людей, созданся художественный памятник, и сейчас являющийся украшением Абрамцева-музея».

В мамонтовском доме всегда были рады гостям. Весело и многолюдно было в праздники. Приведем еще отрывок из воспоминаний Прахова. «Днем к определенным московским поездом высылался экипаж на случай приезда гостей. Каждого вновь прибывшего сторож спрашивал: ”Вы в Абрамцево?” – и, получив утвердительный ответ, подзывал экипаж. В дни семейных праздников к каждому московскому поезду высылался не один, а несколько экипажей...

Гости начинали съезжаться с утра, а некоторые приезжали еще накануне. Всех как-то размещали с ночевкой...

Весь дом наполнялся веселой суетой и шумом. Смеялись, разговаривали, пели, завтракали, обедали и ужинали, пили чай и в столовой, и на террасе, и в парке под липами около гартмановской мастерской, под которыми, много лет раньше, пили чай гости Аксаковых. Днем гуляли, катались на лодке по Воре, играли в горелки и крокет, бегали на гигантских шагах, играли в городки, а вечером устраивали концерты и разыгрывали шарады».

В храмовый праздник – третий Спас приходили в усадьбу крестьяне с детьми. Для них устраивались разные забавные состязания с подарками для победителей. А потом «звон кухонного колокола созывал нас всех к столу, а крестьянских детей тетя Лиза и другие “тети” оделяли гостинцами,

завернутыми в ситцевые платки. Тут были и сладости, и детские книжки с картинками, пояски для мальчиков и цветные ленточки или бусы для девочек. Мы помогали взрослым вылавливать в толпе застенчивых, стыдившихся подойти к крыльцу за подарками, и совали им в руки что попало. Родителей, пришедших с детьми на праздник, угощали на свежем воздухе, для чего перед людской заранее ставились длинные столы и лавки.

От всей этой веселой возни в памяти сохранились кумачовые или розовые ситцевые рубахи мальчиков, пестрые сарафанчики девочек, веселые, оживленные лица детей и взрослых, звонкий смех, шутки и визг ребят.

Вечером, перед ужином, когда на дворе темнело, устраивался гостям сюрприз. Дядя Савва накануне праздника ездил в Москву, оттуда привозил подарки, а также складные бумажные фонари и фейерверк. Нам, детям, поручалось украсить фонарями террасу, клумбы с цветами и развесить их под деревьями. Фонари были складные, цилиндрические и круглые, с пестрыми рисунками крупных цветов или одноцветные. Мы старались подобрать их покрасивее, и сами первые восторгались потом полученным эффектом.

Густо заросший старыми липами, елями, орешником и сиренью, огромный парк превращался ночью в какое-то сказочное царство. От контраста со светом разноцветных фонарей ночная тьма казалась еще темнее, а небо, усеянное яркими звездами, приобретало новый, неуловимый оттенок и казалось еще выше, чем днем».

И в заключение этих воспоминаний, написанных в конце жизни, приведем такие его слова: «Мамонтовский кружок отличался от остальных тем, что не имел своего писаного устава, члены его никем не избирались, а собирались в дружную семью путем естественного подбора и взаимного тяготения к красоте и искусству. Красота была разлита в абрамцевском пейзаже, среди молодых женщин и мужчин, оживлявших его своим присутствием, а искусство процветало во всех его видах. Единственное, чего не было ни в Абрамцеве, ни в московском мамонтовском доме, — это

игральных карт и ломберных зеленых столов. Карты заполняют обычно жизнь чиновного мира, типичные представители которого не знают, чем убить время.

Членам Мамонтовского художественного кружка не надо было его “убивать”. Время для них не тянулось, а летело – только успевай за ним проявить, к общей радости, то, чем сейчас полно сердце!

И проявляли свое дарование...».

Елизавета Самарина в два года осталась сиротой. Ее воспитывала тетка Александра Саввишна, так что большую часть детства она провела в Абрамцеве. Вот несколько отрывков из ее воспоминаний.

«Абрамцево. Как дорого для меня это слово, в нем звучит мое представление о детстве, юности в милом, удивительно уютном доме, насыщенном образами прекрасного прошлого! А парк около дома, а быстрая чистая речка Воря; дальше нетронутые леса с дубовой рощей, грибами, ягодами, орехами, и такая тишина!..

Каждое время года имело свою особую прелесть и по-разному воспринималось в Абрамцеве. Весна – лучшее время года, когда все в природе оживает: ручьи бурно несут воды к Воре; разные птицы своими голосами оживляют парк; в многочисленных скворечниках поселяются заботливые жители и так чудесно поют по вечерам; перед домом, недалеко от подъезда, как букет, распускается раскидистая верба, вся в белых барашках. Первые, самые ранние цветы – разноцветные крокусы выходят из земли у “маленького крылечка”, в начале дорожки, ведущей к церкви. Дорожка эта так хорошо запечатлена в раннем этюде Поленова. А вот и пасхальная ночь, и ровно в двенадцать часов слышится вдалеке бархатный голос самого мощного лаврского колокола, за ним и голос Хотьковского монастыря, а там и перезвон абрамцевской звонницы. Церковь абрамцевская так интересно очерчена в своей чудесной архитектуре зажженными белыми скромными фонариками, и еще темней кажется от этого в парке и среди нависших елей.

Лето приносит чудесные ароматы цветов в саду, в парке, в лесах. Как поразительны были своими размерами и пышной красотой “бубенчики” – купальницы, росшие в конце парка под кручей обрыва; это место называлось Афончик (наверное, название шло от горы Афон). Ландыши были только в Макаровском лесу за Ворей среди огромных елей – это там, где теперь поселок художников; а в парке, около дома, и в конце Тенистой аллеи (ее теперь называют Гоголевской), росли ранней весной также душистые бледно-лиловые фиалки, и только в одном месте, на Таньоновом носу, цвели темно-лиловые пармские фиалки, привезенные бабушкой Елизаветой Григорьевной из Италии.

А позднее лето для меня сливается в воспоминаниях с запахом жасмина и земляники на большой террасе дома. Купаться в Воре было заманчиво, но настолько была холодна вода, что не всегда решались на это удовольствие. Была и купальня на Воре в парке. А вот на лодках плавали вверх, вдоль берега парка, и вниз к Яснушке и под железнодорожный мост к Репихову. Воря была вполне “судоходна”, и рыба в ней водилась, хоть и меньше, чем при старике Сергее Тимофеевиче Аксакове.

Осень – это лес, такой красивый и с таким невероятным количеством грибов. Собирались только лучшие грибы: белые, подосиновики, молоденькие подберезовики, рыжики, опята; остальные грибы не были достойны сбора. Лучшим местом для сбора белых грибов была Дубовая роща, где под одним дубом можно было собрать 30–40 белых. За рыжиками ездили на лошадях, с бельевыми корзинами, за Яснушку, в сторону Глебова. Осенью жгли костры в лесу, пекли картошку, собирали удивительной окраски кленовые листья и делали из них гирлянды. А как великолепны были темные ночи с бесчисленным количеством необычайно ярких звезд.

Зима – первый снег, сколько радости он приносит в детстве. Дом становится еще уютнее с топящимися печами и каминами, слышно потрескивание дров и их совсем особый сильный запах, а по вечерам всюду в доме зажигаются керосиновые и спиртовые лампы с такими красивыми

расписными абажурами. А вот уже появляются лыжи и санки, и мы с необычайным азартом катаемся с гор. Это увлечение было присуще Абрамцеву еще со времен мальчиков Мамонтовых, сыновей Саввы Ивановича, и с ними Серова, которые, по рассказам, на санках катались от самой террасы дома до Нижнего пруда, обгоняя друг друга, и притом ухитряясь перекидывать на ходу с одних саней на другие младшего члена безумной компании, Александру Саввишну – Шуру, отличавшуюся крайней смелостью. Помню, как по заведенному бабушкой Елизаветой Григорьевной обычаю нас на Святках уже ночью, как, наверное, казалось нам тогда, усаживали в большие сани и возили на быстрых, запряженных парой или гуськом, лошадях в лес, где на какой-нибудь поляне были зажжены свечи на большой заснеженной елке, и мы, маленькие дети, верили, что это елка зверей. А звери-то тогда действительно были. Осенью медведь выходил на поспевающие овсы где-то между Абрамцевым и Артемовым».

Летом 1917 года в усадьбе оставалась Александра Саввишна Мамонтова. Она писала об овладевшей ею апатией от всего происходящего о. Павлу Флоренскому. Он ответил ей письмом, в котором есть такие строки: «Все, что происходит кругом нас, для нас, разумеется, мучительно. Однако я верю и надеюсь, что, исчерпав себя, нигилизм докажет свое ничтожество, всем надоест, вызовет ненависть к себе, и тогда, после краха всей мерзости, сердца и умы уже не по-прежнему вяло и с оглядкой, а наголодавшись, обратятся к русской идее, идее России, к Святой Руси. ... Скажу худшее. Если бы Абрамцево уничтожили физически, то и тогда, несмотря на это великое преступление уничтоживших перед русским народом, если будет жива идея Абрамцева, не все погибло. Но вот когда Вы внутренне охладеее к аромату истории – это будет совсем худо, и Ваша вина, вина Вас, знавших **душу** Абрамцева, будет неизмеримо больше вины тех, кто, не зная души его, погубил его тело».

Скоро настали для Абрамцева опасные дни. Самарина-Чернышева вспоминала: «Была осень 1918 года. Время сложное и тяжелое. Рушились

старые устои. Страшно было в старом аксаковском доме в темные осенние ночи, когда ярким костром горели ближайшие помещичьи усадьбы. В Жучках деревянный, очень безвкусный дом в стиле средневекового замка, и в Ахтырке прекрасный, тоже деревянный в строгом стиле ампир дом, построенный Трубецкими (дом в Ахтырке сгорел в 1921 году. – Т.С.). Мы, стоя около абрамцевского дома, с трепетом смотрели на эти пожары, и сердце сжималось при мысли, что, может быть, завтра будет также пылать милый абрамцевский дом. Но вот приехали представители Отдела охраны памятников искусства и старины, и на все двери парадных больших комнат первого этажа были положены сургучные печати; состоялось решение Совнаркома о взятии Абрамцева под охрану. 31 декабря 1918 года А.С. Мамонтова подписывает акт о приеме на хранение четырех опечатанных комнат в доме, картин, скульптуры, мебели, библиотеки по искусству и образцов деревянных изделий. Это вселило надежду, что все сохранится... В 1919 году состоялось постановление Совнаркома о преобразовании Абрамцева в музей. 12 октября подписан акт о снятии печатей с дверей комнат, флигеля, художественной мастерской и о сдаче всех помещений и предметов под охрану и попечение А.С. Мамонтовой».

Итак, Абрамцево уцелело. Весь штат музея состоял из хранителя, уборщицы и сторожа. Хранителем была назначена А.С. Мамонтова, уборщицей была Александра Васильевна Бархатова, до этого лет тридцать работавшая экономкой в семье Мамонтовых, а сторожем – Марк Алексеевич Редькин. Редькин «был бессменным сторожем музея, оберегал церковь и отпирал ее для посетителей и охранял могилы. Долгое время над входом в церковь перед иконой Спаса продолжал зажигать в фонарике лампаду и, скрывая это, говорил: “Вот какой-то чудак зажигает”», – вспоминала Самарина-Чернышева.

Одним из тех, кто водил тогда экскурсии по музею, был Сергей Николаевич Дурылин (1886–1954). Он вспоминал: «В Абрамцеве я жила целыми летами, жила и зимой. Гоголевско-Аксаковскую комнату устраивал

вместе с Адарюковым. Там и дорога, и парк поразителен. Там Гоголь, уткнув нос в песок дорожек, бродит. Там старик Аксаков грибы ищет. Там колдуют над мхом, над березами и соснами каменные бабы, древние степные Астарты, переселившиеся в леса. Я в них был влюблен. Стихи мои есть к ним и о них».

Большое участие в работе музея принимали члены семьи Самариных, жившие в Абрамцево: муж Веры Саввишны Мамонтовой – Александр Дмитриевич Самарин (1868–1932), в прошлом московский губернский предводитель дворянства, позже – обер-прокурор Святейшего Синода, его сын и дочь. Но в августе 1919 года А.Д. Самарина арестовали и приговорили к расстрелу, который заменили тогда тюремным заключением «впредь до окончательной победы мирового пролетариата над мировым империализмом». Когда тюрьму посетили члены Коминтерна, одна посетительница, узнав о приговоре и сроке Самарина, с недоумением спросила его по-французски: «А когда это будет, месье?». В 1922 году Самарина освободили, и он, вернувшись в Абрамцево, вложил в него много сил и энергии. На нем лежали заботы о ремонте, он работал в огороде, колол дрова, чистил стойло коровы, водил экскурсии. Так было до следующего ареста.

Его дочь вспоминала: «Была глухая, темная бесснежная осень 1925 года. Земля замерзла, но не покрылась снегом. В такую ночь раздался резкий стук в двери дома. Чужие, чуждые люди пришли за моим отцом. Зажглись убогие керосиновые лампы, началось хождение по темному холодному дому. Мы жили тогда в разных концах дома, отапливались отдельные комнаты – оазисы. Музей занимал большую часть низа и на зиму был закрыт. Обыск... Что может быть отвратительнее враждебных чужих глаз и рук, имевших право пересматривать все самое дорогое и заветное. Кто не испытал этого, тот не поймет всей униженности, которую чувствует человек при виде этих рук и глаз, проникающих в его жизнь... Ночь на исходе. Люди кончили “свое дело”. Отец готов идти. Почему-то в памяти не сохранились минуты прощания в эту ночь. Может быть, потому, что мне разрешено проводить

отца до станции Хотьково. Сколько раз мы ходили вместе, вдвоем, в столь любимый нами Хотьков-монастырь. Папа всегда впереди, высокий, легкой и быстрой походкой, я за ним почти вприпрыжку и тоже легко и радостно. Хотьков мне второй дом. Как любили мы монашеское стройное пение, чинность службы, необычайную чистоту-сияние в храме. В эту ночь мы шли молча, окруженные конвоем, чужими людьми. Вот и станция. Сидим в столь знакомом с детства станционном “зале”. Молчание. Подходит поезд из Сергиева Посада. Я отхожу в сторону. Что в это время в душе! Расставание с отцом уже не первое ... В этот день, вернее, в эту темную, мрачную ноябрьскую ночь, ушел из жизни родной, милый абрамцевский дом».

Самарина сослали на три года в Якутию, потом он получил «минус шесть», то есть, запрещение проживать в шести крупных городах и областях и поселился в Костроме. Там, в 1931 году, его арестовали в последний раз. Вскоре освободили, а через несколько месяцев он скончался.

В 1926 году А.С. Мамонтову отстранили от заведывания музеем, а в мае 1928 года арестовали и заставили, не дав побывать в Абрамцеве, выехать из Московской области.

Непростой была судьба музея в последующие годы. С 1932 года музейная работа была приостановлена – Абрамцево стало Домом отдыха творческих работников: артистов, кинематографистов, музыкантов. Угроза над коллекциями музея нависла во время Великой Отечественной войны. В начале войны абрамцевский музей был занят госпиталем. Администрация госпиталя переместила музейное имущество в абрамцевскую церковь. Спас экспонаты научный сотрудник Загорского историко-художественного музея-заповедника Иван Федорович Казаков (1876–1966). Гужевым транспортом большую часть вещей он перевез в Загорск, где они были замурованы в нижнем ярусе лаврской колокольни и оставались там до мая 1945 года. В 1947 году Абрамцево по инициативе президента Академии наук СССР С.И. Вавилова вновь обрело статус музея. В 1948–1950 годах музейная коллекция

была возвращена в Абрамцево. И в октябре 1952 года Казаков получил благодарность за ее спасение и сохранение и за помощь в воссоздании музея.

Художественные традиции Абрамцева продолжались и продолжают до сих пор. В 1934 году началось строительство десяти дач для художников. Так возник поселок художников, который называют Ново-Абрамцевым. Рядом построил дачу с мастерской по своему проекту Игорь Грабарь, известный художник и искусствовед. В начале 1970-х годов в абрамцевском музее был создан отдел современного искусства. В нем собраны произведения художников, многие из которых жили и работали в окрестностях Абрамцева. В музее есть картины тех, кто входил в начале 1910-х годов в объединение «Бубновый валет»: Петра Кончаловского, Ильи Машкова, Аристарха Лентулова, Александра Осмеркина, Роберта Фалька, Василия Рождественского. Это были художники европейского уровня и в то же время очень русские, московские. В Москве в залах выставок висели вперемешку картины русских и французских мастеров. Такой уж это был город – притягивал живописные таланты. Петербургский художник Александр Бенуа писал, что, попадая в Москву, он чувствует себя так, «точно поднялся на высокую гору, где парит здоровье, где ясно светит солнце, где можно жить». В Москве «самый воздух как-то пьянит, дразнит, подстегивает, да и свет там иной, иные во всем краски». Это искусство – здоровое, иногда грубое, порой пугающее, но всегда интересное, бодрящее – и возникло в Москве. У Машкова в мастерской даже висел плакат: «В моей мастерской место здоровым и сильным». И название, которое взяли себе эти художники – «Бубновый валет» – неслучайно. В картах бубновый валет символизирует молодую горячую кровь. Прогревшиеся, напугавшие, поразившие, вызвавшие взрыв негодования у одних, восторга у других, эти художники прожили еще долгую жизнь. И каждый прошел свой путь. Все менялись со временем. Но по-разному. Иные как-то быстро погасли, утратили тот здоровый, бодрый заряд молодых сил, пытались приспособиться к требованиям чиновников от искусства. Грустно бывает листать их

монографии – кривая таланта стремительно идет вниз. Грустно, но и поучительно. А некоторые, меняясь, искали новое, не утрачивали мастерства. И были обречены на забвение в течение многих лет, а потом оказалось, что создавали шедевры, которые мы теперь видим.

Художники представлены, конечно, с разной полнотой. Наверное, самый большой временной интервал у Роберта Фалька (1886–1958): от «Бутылок» 1910 года до «Хотьковского монастыря» 1954-го. Башня и часть стены монастыря на этом полотне напоминают какой-то средневековый замок; низкое темно-красное строение с черным проемом возле подножия стены выглядит загадочно, пышные кроны огромных деревьев уходят в синее небо. Но, несмотря на всю кажущуюся необычность пейзажа для средней полосы России, еще недавно было нетрудно найти место, с которого писал художник и убедиться, что пейзаж вполне реален. Фальк считал, что «живопись – это музыка цвета». И к его работам это выражение относится в полной мере. А вот другая картина того же художника – «Репихово. Козы». Репихово – деревня рядом с Хотьковым. Работа небольшая, а кажется монументальной. И возникает ощущение безбрежности. И солнце, солнце, солнце ... Кажется, что не оно освещает лужок, а солнечный свет идет о самого полотна. А как артистично написаны козы!.. По рассказу вдовы художника, записанному Алексеем Ивановичем Куншенко, многие годы заведовавшего в Абрамцевском музее отделом современного искусства, когда Фальк работал, козы вдруг ушли. Он как-то даже обиделся. Тогда жена принесла соли, а соль была в то время по карточкам – 1947 год – и приманила коз назад. Сами потом ели картошку без соли, с килькой.

Блестяще представлен в Абрамцеве Василий Рождественский (1884–1963), художник, который как-то остается в тени более известных членов объединения «Бубновый валет». Его живопись хочется назвать мерцающей, перламутровой. У Рождественского в пейзажах чистый воздух русского Севера, Беломорья; в натюрмортах – живое серебро только что вытасненных из воды рыб. Возникает ощущение холодка летнего утра на севере. К этому

художнику можно отнести слова одного из искусствоведов, сказанные тем об Анри Матиссе: он «держит свои горести при себе, Он не желает никому их навязывать. Людям он дарит только спокойствие».

Немало в музее и полотен Петра Кончаловского (1876–1956). Он жил в абрамцевском доме в 1919–1921 годах, участвовал в создании музея. Написал целый ряд абрамцевских пейзажей: «Дубовая роща, освещенная солнцем». «Мост. Река Воря», «Сосна» и другие. А сравнительно недавно – в начале 1990-х годов – приобретены музеем шесть его больших панно: «Сбор винограда». «Сноп». «Посадка герани», «Оливковая роща»... При взгляде на эти работы сразу вспоминается Ван Гог, его «Красные виноградники в Арле». Считается, что Кончаловский во времена «Бубнового валета» находился под влиянием Сезанна. Сезаннизм усматривают и в его абрамцевских пейзажах. Но первая выставка «Бубнового валета» состоялась в 1910 году, а на панно указан год – 1909-й. Кончаловский как раз перед этим побывал на юге Франции. М. Волошин писал в 1910 году о Кончаловском, что тот «пережил уже много художников и художественных методов и смущает тем, что никогда не знаешь, чего можно ожидать от него. Два года назад он страстно переживал Ван Гога и работал в Арле на тех самых местах, где работал тот».

Жена художника Ольга Васильевна вспоминала об этом увлечении: «Как-то мы ехали из Парижа на юг. Ранним утром я выглянула в окно: поезд стоял на маленькой станции, на которой было написано “Арль”; я разбудила Петра Петровича. В восторге мы смотрели и видели все, что писал Ван Гог, его природу, его освещение. На обратном пути мы с детьми вылезли на этой станции, вытащили вещи и остались тут пожить. Арль 1908 года был совсем вангоговский... Нам здесь нравилось, и П.П. работал. Еще жив был хозяин лавочки, где Ван Гог покупал краски».

Панно заказал молодому и мало еще тогда известному художнику один купец для своего особняка в Иваново-Вознесенске. Но заказчик взять их по какой-то причине отказался. Единственный раз эта декоративная живопись

была показана на ретроспективной выставке «Бубнового валета» в Петербурге в 1913 году, а потом почти 80 лет пролежала забытой в чулане. Теперь после реставрации часть из этих полотен парит над зелеными абрамцевскими пейзажами в зале абрамцевского музея.

Другим направлением, в котором шел сбор коллекции современного искусства в музее, была живопись «шестидесятников»: Андрея Васнецова, Николая Андропова, Иллариона Голицына и других. Колорит большинства полотен очень сдержанный. Лица на портретах едва намечены. В них надо вглядываться и вдумываться. Очень интересен портрет Бориса Шергина работы Голицына. Это не просто портрет, а скорее портрет-картина: странная темно-зеленая комната, окно под потолком. Отсчитывают время ходики. На стенах иконка и картина с кораблем. А внизу притулился маленький седой старичок с длинной белой бородой, словно вышедший из сказки. Шергин был певцом былин и сказителем, писателем и этнографом. Потомок архангельских кораблестроителей и мореходов, он жил в Москве, в комнатухе – бывшей келье Рождественского монастыря, где его портрет и писал художник. Но еще Шергин с 1938 года много лет жил на даче в Хотькове. Немало написал в дневниках о Хотькове, Радонеже, Троице-Сергиевой лавре. Как прекрасно, что Голицын подарил эту работу абрамцевскому музею.

В 1977 году абрамцевский музей получил статус музея-заповедника. В музейный комплекс входит вся территория усадьбы: усадебный дом, церковь Спаса Нерукотворного, «Избушка на курьих ножках», Баня-теремок, в которой находится выставка работ столярной мастерской, Студия-мастерская с выставкой керамических работ Врубеля, выставка произведений народного искусства в помещении бывшей кухни, поленовская дача – в ней проводятся временные выставки, парк и отдел современного искусства, расположенный сейчас в здании, построенном на территории усадьбы в 1930-х годах для Дома отдыха.

Ахтырка

Московский школьник Дмитрий Ганешин (1904–1977) увидел впервые усадьбу Ахтырка 1921 году. В тот день ясной и теплой осени экскурсанты посетили Абрамцево, а потом отправились в Ахтырку, расположенную в четырех километрах от Абрамцева. Он вспоминал: «Усталые, едва передвигая ноги, мы шли то открытым полем, то, опускаясь в долину реки Вори. Скоро мы увидели между стволами огромных сосен и елей, часто росших на крутом, обрывистом склоне левого берега Вори, пруд, вдоль плавно изгибающихся берегов которого, слегка извиваясь, бежала узкая гравийная дорожка. Противоположный берег тоже высокий, но ниже нашего, порос густым естественным лесом. Около дорог и дорожек заметны были декоративные насаждения деревьев и кустарников – отсюда уже начинался усадебный парк.

Постояв, полюбовавшись прелестным видом огромного пруда, освещенного лучами склоняющегося к закату солнца, мы двинулись дальше по дороге, делавшей поворот направо вдоль границы усадьбы, дошли до главных въездных ворот в виде двух рустованных кирпичных столбов, увенчанных белыми каменными шарами, и, пройдя налево между ними, очутились в начале длинной и прямой аллеи, обсаженной вековыми липами. Мы медленно пошли по ней мимо парников и протяженного здания оранжереи с левой стороны и ряда служебных построек, домиков и дач – с правой, и, выйдя на просторный парадный двор, в плане почти квадратной формы, с фонтаном посередине, остановились. Справа мы увидели красавицу церковь с белыми колоннами портиков и белым же декором на темно-вишневом фоне основных стен здания, а слева большой, широко раскинувший свои крылья, главный усадебный дом с торжественным фасадом и куполом над его центральной частью. С боков двор завершали, с одной стороны кухня – здание с колоннами, с другой – большая дача. Все постройки – в стиле “ампир”.

Мы обошли церковь, прошли мимо дома, из которого с криком выбежала ватага детдомовских ребят, по парку спустились к мельнице, перешли по мостику над плотиной и остановились опять. Пруд показался нам огромным, и хотя солнце садилось, мы все же решили его обойти и позже об этом не пожалели.

Вид через пруд с правого берега реки на величественный усадебный дом-дворец с замечательной “жилярдиевской” верандой-полуротондой, на садовые портики флигелей, на изящную пристань и прекрасно разделанный парк был запоминающе красив».

Красота усадьбы произвела такое впечатление, что Д.С. Ганешин «заболел» Ахтыркой и в течение нескольких десятков лет с увлечением, настойчивостью и любовью собирал сведения о ней и ее владельцах. Этот труд не был завершен, но после его кончины незаконченная рукопись все же увидела свет.

Когда-то это было сельцо с очень простым названием: Дудкино. Но вот в 1739 году купил его князь Трубецкой Иван Юрьевич (1703–1744), сын которого – Николай (ум. В 1782 г.) построил деревянную церковь во имя явления Ахтырской иконы Богоматери. Икона была «явлена» в городе Ахтырка Харьковской губернии и после нескольких исцелений, произошедших возле нее, признана чудотворной. Строительство церкви в усадьбе Трубецких во имя этой иконы связано с такой легендой. Раненый князь возвращался домой, вдруг лошади понесли, экипаж свалился с высокого берега Вори, речки, протекающей возле усадьбы, и разбился. У князя был список с Ахтырской иконы Божией Матери, данный ему родителями. Князь оказался невредим, а икона, находившаяся в багаже, оказалась рядом с ним. В память чудесного спасения и построил он церковь во имя явления Ахтырской иконы. Вскоре и усадьбу, и село стали называть по церкви – Ахтыркой. А слово это скорее всего тюркского происхождения и значит «белая крепость» («ак турка»).

Величественный вид приобрела Ахтырка при следующем владельце – Иване Николаевиче (1760–1843). Его жена Наталья Сергеевна, урожденная княжна Мещерская (1775–1852), взялась за обустройство усадьбы. При ней был выстроен обширный дом, каменная церковь с колокольней, разбит парк, запружена река, так что получился большой пруд. И Ахтырка оказалась едва ли не единственной в Подмосковье усадьбой, целиком выстроенной в одном стиле – стиле ампир. Строительство велось в 20-е годы XIX века. Автором проекта церкви был архитектор А.С. Кутепов, ученик знаменитого Доменико Жилярди, автором проекта дома – сам Жилярди или кто-то из его учеников. Владельцы, сознавая ценность архитектурного ансамбля, заказали изображение усадьбы художнику, оставшемуся для нас неизвестным. На литографии 1830-х годов мы видим и широкий пруд с лодочной пристанью, и величественный дворец на другом берегу, и молодые еще посадки деревьев. А большая часть парка была разбита в расчищенном лесу. Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920) вспоминал парк уже 1870-х годов: «...глаз, привыкший к стилю, радовался тут на каждом шагу. Мостики, переброшенные через ручьи, с грациозными перилами в березовой коре, круглая одноэтажная беседка “гриб”, двухэтажная беседка “эрмитаж” с мезонином, с дивным видом с лесистого холма на дом, утопающий в зелени на противоположном берегу реки, пристань для лодок в стиле дома. Весь этот огромный сад с вековыми деревьями, березами, липами, тополями, соснами и елями был раскинут по холмам по обоим берегам реки Вори, запруженной и образующей в Ахтырке широкую водную поверхность с островом посередине, куда мы часто ездили на лодке. Все это было с любовью и удивительным вкусом устроено моей прабабушкой».

Сын Натальи Сергеевны Трубецкой, Петр Иванович (1798–1871), отметил ее заслуги способом необычным, по крайней мере, в России нераспространенным: поставил ей на берегу Вори памятник-колонну с выбитым на ней стихотворением собственного сочинения. В нем есть такие строки:

*Ты местность эту сотворила,
Храм Божий, воды, дом и сад,
Саму природу победила,
Всему дав стройный, дивный лад.*

Это не памятник на могиле – княгиня, как и предыдущие владельцы Ахтырки, похоронена под Трапезной Троице-Сергиевой лавры. Нет, это памятник Матери и ее деяниям. (При следующих владельцах памятник был перемещен к церкви).

Строгой и величественной архитектуре усадьбы соответствовал и стиль жизни владельцев. Вспоминая о своем деде Петре Ивановиче, генерале от кавалерии, потом сенаторе, Евгений Трубецкой писал: «Дедушка не только требовал, чтобы всё кругом подчинялось стилю, но и сам ему подчинялся... Раз заведенный порядок повторялся у него изо дня в день, из часа в час. Все те же часы вставания, все та же каждодневная прогулка с сидением точно определенного количества минут на названной в его честь княжой скамейке в парке. И никакая погода не была в состоянии изменить этого обязательного для него расписания.

Однажды в холодный осенний дождливый день моя мать сопровождала дедушку во время прогулки. Когда он по обыкновению сел на княжью скамейку, она тоже хотела посидеть вместе с ним, но он дрожащей от холода рукой вынул из кармана часы и, посмотрев на них, сказал: «Идите, идите, дорогая домой, я боюсь, что Вы простудитесь, а я должен оставаться еще на десять минут на этой скамейке». И досидел...»

Жизнь деда, как описывает Евгений Трубецкой, была сплошным парадом, парадом будничным. «Но, кроме того, у него был еще особый праздничный парад, который разворачивался в полном своем блеске 2 июля, в день престольного церковного праздника Ахтырской Богоматери.

Как я любил этот день! – вспоминал Е.Н. Трубецкой. – С утра появлялись на лугу между домом и церковью палатки, торговавшие семечками, пряниками и иными гостинцами для народа. Потом мы

отправлялись к обедне в церковь, где стояли на особом княжеском месте, обнесенном балюстрадой. Весь день водились хороводы с песнями, и к вечеру народ приходил к большому парадному крыльцу, открытой террасе со ступеньками, где совершался торжественный выход дедушки к народу, своего рода высочайший выход.

Дедушка садился на кресло смотреть, как мальчишки и парни лазили доставать подарки, навешанные на высокие мачты. Первые скользили, не долезали; наконец, при общем ликовании, какой-нибудь догадливый парень натирал руки смолой и долезал. Когда все подарки были сняты, начиналась раздача подарков бабам и девкам – раздавались бусы, платки и ленты. Бабы выстраивались чинно в ряд, подходили по одной, целовали дедушкину руку, лежавшую на подушке, а из другой получали подарок. Но при этом дедушка дарил только своим бывшим крепостным из Ахтырки и Золотилова, двух его деревень. Как не спутать своих с чужими? Для этого шеренга баб проходила между двумя нашими бывшими кормилицами – Феклой и Марией, от которых получали аттестацию: “своя – чужая”. Своей давались бусы, а чужой кормилицы давали в шею».

Трудно предположить, что такой отбор объяснялся скупостью князя. По-видимому, в этом сказалось присущее ему чувство порядка. Само же это чувство, свойственное многим людям той эпохи, можно объяснить тем, что большинство дворян исполняло чаще всего военную службу, связанную с четким распорядком дня. Выйдя в отставку, они испытывали потребность завести такой же четкий порядок и в усадьбе. К тому же на протяжении поколений усадебная жизнь, как и крестьянская, была тесно связана с природой и в значительной степени определялась сменой времен года и праздничным циклом православного календаря.

Жизнь в Ахтырке изменилась, когда в начале 1860-х годов в ней поселился Николай Петрович Трубецкой (1828–1900) с молодой женой Софьей Алексеевной, урожденной Лопухиной (1841–1901). Е.Н. Трубецкой писал: «В шестидесятых и семидесятых годах этот стиль (архитектурный

стиль ампир. – Т.С.) уже не гармонировал с окружающим. Вся жизнь перестраивалась заново, вследствие чего симметрия дедушкина стиля подвергалась постоянным вынужденным нарушениям со стороны ... Великолепия старой ахтырской архитектуры мои родители просто не понимали, архитектуру ахтырского дома они систематически портили. И происходило это оттого, что архитектурный стиль был в данном случае лишь ярким воплощением стиля жизненного. У наших предков – Трубецких, архитектурные линии имели значение господствующее; для нас – значение только подчиненное... Мои родители требовали, чтобы формы, линии жизни подчинялись ее содержанию; иногда они впадали в крайность пренебрежения к форме. Архитектура ахтырского дома, с ее отсутствием удобств и пренебрежением к жилым комнатам выражала определенный жизненный принцип: все для великолепия. И великолепие, разумеется, служило более родителям, нежели детям. Наоборот, – новый жизненный принцип, внесенный Мам'а в Ахтырку, выражался в положении – все для детей ... Тут были даже преувеличения, и мы были ими избалованы... Пользуясь материалами, привезенными для постройки галереи, я со стороны тоже вздумал строить дом, а родители отнеслись с полным сочувствием к этому здоровому и полезному занятию и отвели мне под постройку место самое удобное для их за мной надзора, непосредственно под великолепной каменной террасой с коринфскими колоннами, где раньше совершались “высочайшие выходы” дедушки. Там, выкопав четыре ямы, я поставил четыре столба, обшил их разноцветным тесом, где старые серые тесины были смешаны с белыми, и устроил из неровного теса кривую крышу с большими щелями. Плотники, собравшись посмотреть на мое сооружение, громко, гомерически хохотали».

«Вспоминая переход Ахтырки моего деда к Ахтырке моего отца, – писал Е.Н. Трубецкой, – я испытываю впечатление, словно вся величественная архитектура ахтырской усадьбы ушла вовнутрь, превратилась в иную, магическую архитектуру звуков».

Н.П. Трубецкой, выйдя в отставку, познакомился с Николаем Григорьевичем Рубинштейном и стал его ближайшим другом, покровителем и спонсором. С этих пор для князя главным делом жизни стала организация музыкальной жизни Москвы и создание Московской консерватории.

В середине XIX века русское общество могло слышать преимущественно музыку в любительском исполнении. Это положение несколько изменилось, когда в 1862 году была открыта Петербургская консерватория. Способствовало музыкальному образованию общества и учреждение в 1859 году Русского Музыкального общества (РМО), во главе которого стал знаменитый композитор, пианист и дирижер Антон Григорьевич Рубинштейн. Но то было в столице. В Москве положение было хуже. Только великим постом устраивали в Москве немногие публичные концерты, а в остальное время музыка звучала лишь в частных домах. И вот князь Трубецкой и брат А.Г. Рубинштейна знаменитый пианист Н.Г. Рубинштейн в 1860 году создали Московское отделение РМО, а в 1866 году открыли Московскую консерваторию. При этом Рубинштейн отвечал за художественную часть, а всеми организационными вопросами занимался Трубецкой. Благодаря своему титулу и весу в обществе ему удавалось преодолевать многие административные препоны. Сумел он преодолеть и инертность публики, устраивая общедоступные концерты со специальными общедоступными программами и по недорогим билетам. В этих концертах звучала музыка Чайковского, Балакирева, Римского-Корсакова, Кюи. Пятнадцать лет Трубецкой был председателем Московского отделения РМО, и в эти годы оно имело успех даже больший, чем РМО в Петербурге.

Предметом особых забот Трубецкого была Московская консерватория. Он много трудился, что открыть ее: занимался поисками помещения и средств, лично входил в такие дела, как составление штатного расписания, координация сроков студенческих экзаменов и концертов и пр. Но, отдавая этим вопросам все силы и собственные средства, князь предпочитал оставаться в тени. Он не искал популярности, публиковал в «Московских

ведомостях» статьи о нуждах Консерватории без подписи. И сейчас заслуги этого человека, так много сделавшего для расцвета русской музыки и, в первую очередь, для музыкальной жизни Москвы, практически забыты.

В 1860–1870 годы в Ахтырке подолгу гостили выдающиеся музыканты, профессора Московской консерватории: знаменитый виолончелист Косман, один из первых скрипачей мира – Лауб и его ученик Гржимали, виолончелист Фитцвенгаген. И, конечно, сам Н.Г. Рубинштейн. В 1847 году побывал в Ахтырке П.И. Чайковский.

Е.Н. Трубецкой вспоминал, о том, каким было детство в Ахтырке: «...мы там дышали благодатью, словно благодатью был там полон каждый глоток воздуха. Помню четыре кроватки в детской, в очень раннем моем детстве, когда мы, мальчики, еще не были отделены от сестер; на кроватках – кисейные занавески от комаров и образочки. В открытое окно врываются всякие вечерние деревенские звуки, – однообразный и как бы скрипичный унисон комаров, протяжная верхняя нота песни вдали, редкий и тем более таинственный удар церковного колокола; а над всем этим – громкое утверждение радости жизни, – целая симфония, исполняемая оркестром многочисленных стрижей, вылетающих на закате из гнезд над окнами господского дома. Меня всегда ужасно радовал этот знак птичьего доверия к нашему дому, который они признавали своим гнездом. Я тоже, слушая их голоса в эти вечерние часы, был полон ощущения какого-то доверия к гнезду... Утро начиналось без Мам'а; она вставала позже, но тем не менее и тут все было полно ее невидимым присутствием. Я помню эту всегдашнюю радость пробуждения, которой вторили уже не стрижи, а другой оркестр, – оркестр лягушек, громко, властно квакавший из залитой солнцем и покрытой белыми водяными цветами реки у подножия холма – под усадьбой; но лягушачьи голоса покрывались визгом и хохотом детей, расшалившихся в кроватках».

Духовная атмосфера дома была создана Софьей Алексеевной. Она дала детям религиозное воспитание. Евгений Трубецкой привел в воспоминаниях

такой случай: Моя маленькая сестренка, кажется, Тоня – ползает под столом после обеда и собирает крошки. Она знает, что это запрещено и потому говорит: “Мама, отвелнись, я буду собирать клошки!” Мама указывает на образ и говорит: “Я не увижу, так Бог увидит”; а Тоня ей в ответ: “Пелвелни Бога”.

Не помню, что сказала на это Мам’а. Помню только, что с этой минуты с какой-то необычайной силою гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных и самых сильных, – ощущение какого-то ясного и светлого ока, пронизывающего тьму, проникающего и в душу, и в самые темные глубины мирские; и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие гипнотические внушения – самая суть воспитания, и Мам’а как никто умела их делать».

Больше всего С.А. Трубецкую «возмущали всякие проявления неуважения к личному достоинству... Никогда не забуду – писал Е.Н. Трубецкой, – силы ее гнева, когда однажды, бросая пряниками в день ахтырского праздника, я целился в головы мальчиков и бросал их с силою, причиняя боль. По ужасу, изобразившемуся в ее глазах, я понял, какой ужас я сделал. Гипноз этого взгляда сделал для меня такое третирование крестьянских мальчиков раз навсегда невозможным... Мы выросли в понятиях равенства всех людей перед Богом...

Собственно все эти сменявшие друг друга без конца гувернантки, как и единственный гувернер, – были не столько нашими воспитателями, сколько орудиями нашего воспитания – для французского языка и для прогулки. Самая суть воспитания не вверялась им, а исходила непосредственно от моей матери, которая не любила и не допускала рядом с собою чьего-либо сильного постороннего влияния. Она хотела быть всем для своих детей и достигала этого с успехом, но поэтому рядом с ней кому-нибудь другому было трудно быть чем-нибудь... Воспитание наше было слишком интимным и внутренним, чтобы кто-либо мог тут существенно помогать. Помню, как Мама готовила нас к первым нашим детским исповедям, читая Евангелие.

Страдания Христа и ужас человеческого греха, приведший к этому, так ярко изображались в наших душах, потрясающая повесть о Голгофе так захватывала, что мы все плакали. Какое могло быть другое воспитание рядом с этим, и кто другой мог в этом сотрудничать!..

Помню, как неотразимо могуче было, благодаря влиянию Мам'а, первое действие на наши души великих русских писателей, каким праздникам для нас были ее чтения “Вечеров на хуторе” Гоголя и “Записок охотника” Тургенева. Помню, как я десятилетним мальчиком был до глубины души взволнован и потрясен рассказом “Муму”, как она сумела по поводу этого рассказа заставить нас сразу почувствовать весь ужас канувшей в воду эпохи крепостного права. Я и до сих пор не могу вспомнить “Муму”, чтобы не вспомнить о ней. Такие воспоминания не только врезаются в память, они остаются в ней на всю жизнь духовными двигателями».

Старший из сыновей Софьи Алексеевны – Сергей Николаевич Трубецкой (1862–1905) – стал выдающимся философом. Свою магистерскую диссертацию он посвятил матери. В формировании его взглядов несомненно сказалось воспитание, полученное в Ахтырке. Евгений Трубецкой писал: «Самое имя “Сергий” не случайно было ему наречено при крещении. Ахтырка, где он родился, находилась всего в тринадцати верстах от Троицко-Сергиевской лавры и всего в пяти верстах от Хотьковского монастыря, где погребены родители св. Сергия – Кирилл и Мария. Хотьковом и Лаврой полны все наши ахтырские воспоминания. В Лавру совершались нами – детьми – частые паломничества, там же похоронили и дедушку Трубецкого; а образ св. Сергия висел над каждой из наших детских кроватей. – Нужно ли удивляться, что мирозерцание моего брата, а в особенности внутренняя музыка его существа – насквозь насыщены густым звоном лаврских колоколов и носят на себе печать великой народно-русской святыни?»

Это и другие сродные лавре впечатления и были, думается мне, точкой опоры всего его творчества. Что такое эта лавра? Известно, что св. Сергий поставил собор Св. Троицы как образ единства в любви, дабы, взирая на тот

образ, люди побеждали в себе ненавистное разделение мира. Мы, дети, конечно, этого не знали, когда росли, но яркое жизненное воплощение мысли св. Сергия так или иначе нами воспринималось. Образ любви, собирающей народ и организующей его в собор, сильно врезался нам в душу. И мы прекрасно знали и чувствовали, что этим образом Россия когда-то созидалась и спасалась. Любовь к сверхнародному – Божьему и любовь к родному – русскому тут были одно. – Люди, погруженные в созерцание всеединства в любви, не задумываясь, отказывались от этого созерцания и выходили на брань из стен монастыря, когда родина была в опасности.

Когда я вспоминаю жизнь моего брата Сергея, мне всегда кажется, словно в нем чувствовалась мысль и воля этого святого – исповедника соборности, который учил прежде всего любить, а уж потом созерцать».

Сергей Трубецкой занимался не только философией, – а его философские труды составили шесть томов, – он активно участвовал в жизни Московского университета. Свою задачу как философ и как профессор университета он видел в том, чтобы не распространять дух нетерпимости, противопоставлял ожесточенности, распространившейся в начале XX века и в научной среде, взвешенный тон своих научных трудов, мудрость и спокойствие. Он проявлял христианское отношение даже к тем критикам, которые допускали личные выпады против него.

2 сентября 1905 года С.Н. Трубецкого избрали ректором московского университета. В то время в стенах университета происходили студенческие сходки, причем в них участвовала масса посторонней публики. Через несколько дней Трубецкому пришлось закрыть университет, чтобы не допустить ввода на его территорию войск и полиции. Он выехал в Петербург к министру народного просвещения. После доклада министру полез в карман, желая достать какие-то просьбы студентов. Тут случилось кровоизлияние в мозг. Ректором университета он был только 29 дней.

« Все те, кому дорог образ мыслителя и великого русского гражданина – кн. С.Н. Трубецкого, должны помнить, что этот образ – духовный дар

Ахтырки и ее завещание – России, писал Е.Н. Трубецкой. – Все ахтырское прошлое в его душе, очищенное и просветленное, отдано на служение родине. В ней чувствуется и редкое благородство архитектурных линий жизни, и могучий внутренний подъем музыкальных душ его отца и матери, и весь прекрасный звучащий мир Рубинштейновского творчества; но сильнее всего и громче всего – тот призыв лаврского колокола, который вещает миру».

Этими строками Е.Н. Трубецкой закончил свои воспоминания «Из прошлого», написанные им в марте 1917 года в Петрограде, в гостинице, прислушиваясь к лаю пулемета и крикам «ура» революционной толпы на улице. «Это – не бегство от настоящего, а искание точки опоры для настоящего, – писал он тогда. – Настоящее темно, страшно, а главное неизвестно. И вот почему мне хочется вспомнить это прошедшее, в котором мне было дано пережить так много светлого, хорошего ... И вот теперь, в дни ужаса перед неизвестной далью, в эпоху мучительных сомнений в России, это прошлое, – помимо благодарности к дорогим отошедшим, – источник веры в русскую душу, святую, милую и любящую».

Сам Евгений Николаевич Трубецкой был также выдающимся религиозным философом. Он безусловно испытал на себе влияние всей атмосферы Ахтырки и ее близости к Троице-Сергиевой лавре. Выступал за мирное обновление России путем реформ. Был одним из тех, кто считал необходимым восстановление в России патриаршества, отмененного Петром I. Участвовал в ноябре 1917 года во Всероссийском поместном церковном соборе, избравшем патриарха. Вынужден был бежать из Москвы на юг, в белую армию и погиб от сыпного тифа в 1920 году.

Среди трудов Е.Н. Трубецкого особое место занимают очерки о древнерусском искусстве, имеющие непреходящее значение: «Умозрение в красках», «Два мира в древнерусской иконописи» и «Россия в ее иконе». Он постиг язык древнерусского искусства, понял символику красок, значение золотого ассиста икон, смысл архитектурных форм храмов и смог донести

это понимание до слушателей его лекций и до читателей. В этих трудах Трубецкого слиты воедино эстетическое, философское и богословское понимание древнерусского искусства.

Младший сын этой семьи Григорий Трубецкой (1873–1929) был дипломатом. Как и Евгений Трубецкой он занимался подготовкой Церковного собора в 1917 году, участвовал в добровольческом движении. После поражения Белого движения оказался в эмиграции. В своей усадьбе в Кламаре, под Парижем, ему удалось собрать почти всех членов огромной семьи, которым удалось уехать из России после революции.

А Ахтырку пришлось продать еще Николаю Петровичу Трубецкому. Дела РМО он вел превосходно, а вот своим хозяйством почти не занимался. Тут еще один из его братьев должен был выплатить большой карточный долг. Родственники продали, что смогли, чтобы избежать позора. У Н.П. Трубецкого денег свободных не было. Музыкальное общество, консерватория, большая семья, широкая благотворительность поглотили его состояние. Ему пришлось поступить на службу: на должность Калужского вице-губернатора. А в 1879 году продать Ахтырку. Вот что писал по этому поводу о своем отце Е.Н. Трубецкой: «Если б он был другой, мы были бы богаче, куда богаче. Но тогда Ахтырка не была бы той симфонией, которая врезалась нам в душу, не было бы этой Ахтырки звуковой, а она в нашей памяти насквозь пропиталась звуками и ими одухотворялась. Когда я ее вспоминаю с закрытыми глазами, мне кажется, что я ее не только вижу, но и слышу. Словно звучит каждая дорожка в парке, всякая в нем роща, лужайка или поворот реки; всякое место связано с определенным мотивом, имеет свой особый музыкальный образ, неразрывный со зрительным».

Ахтырка вскоре была приобретена московским мировым судьей И.М. Матвеевым, затем владельцем стал его сын Сергей Иванович, увлекавшийся цветоводством. В 1880-е годы природа Ахтырки привлекла внимание художников Абрамцевского кружка. Виктор и Аполлинарий Васнецовы написали немало этюдов в ее окрестностях. Виктор Васнецов работал там

над картиной «Аленушка». В 1891 году на даче в Ахтырке поселился Михаил Нестеров. Но замечательный архитектурный ансамбль усадьбы почти не привлекал внимания этих художников. Лишь на немногих этюдах есть фрагменты усадебных построек, да на картине А.М. Васнецова «Ахтырка» виден на дальнем плане усадебный дом и церковь. Видимо, это объясняется тем, что художники Абрамцевского кружка были увлечены народным искусством и древнерусской архитектурой, а наследием эпохи классицизма не интересовались.

Отношение к искусству классицизма в русском обществе изменилось в конце 1900-х годов. По заказу Абрикосовых, снимавших в Ахтырке дачу, в начале XX века фирмой «Люмьер и К*» были сделаны фотографии и даже цветные слайды усадьбы. А писал Ахтырку живший на даче у своих родственников Абрикосовых художник Василий Кандинский (1866–1944), основоположник абстракционизма, получивший позднее мировую известность. Очень интересен, в частности, его этюд «Красная церковь» с резким сопоставлением звонких локальных цветов – красного и зеленого.

Еще осенью 1921 года усадьба выглядела прекрасно. «В центре двора был устроен бассейн с фонтаном, вокруг которого и вдоль разбитых дорожек росли розы, множество левкоев, пионы, душистый горошек и другие цветы, а между ними зеленела подстриженная травка – газон», – вспоминал Д.С. Ганешин. Но сам С.И. Матвеев жил тогда уже во флигеле, а в усадебном доме власти устроили детский дом для беспризорников. Крестьянам это не понравилось, и они дом подожгли.

Дочь Н.П. Трубецкого Ольга (1867–1947) писала: «...никогда чувство “отчизны” так сильно во мне не говорит, как когда вспоминаю Ахтырку ... Перед отъездом из России осенью 1924 года захотелось проститься с ней. Уже тогда ходила я с трудом. Приехала в Абрамцево, где жил А.Д. Самарин; оттуда вест пять пешком до Ахтырки – дошла-таки! Я знала, что дом сгорел, но неудержимо тянуло на пепелище.

Был золотой, совершенно золотой осенний день. Тишина. Небо голубое и лиловатое сквозь осеннюю дымку. Зашла я так, чтобы взглянуть на пепелище от церкви, и увидела – огромный, во всю длину дома, словно могильный холм, густо поросший молодыми березами и снопами высокого розового иван-чая, а над холмом – две лиственницы, стоявшие перед большим балконом: одна живая, зеленая, не тронутая огнем, а другая – совершенно обгорелая, до жуткости черная, с корявыми ветвями, словно вывороченными в отчаянной судороге гигантскими руками.

Мне захотелось обойти дом кругом, чтобы не видеть этого дерева и увидеть над могилой нетронутую огнем мирную и светлую Ахтырскую церковь. Так и сделала и, когда подняла голову и взглянула вверх ... вдруг чудо! Ну, просто чудо!.. Теплые-теплые крупные капли дождя, словно слезы, закапали сверху из голубого неба и залили мое разгоревшееся лицо. Несказанное волнение и умиление охватили меня. Дождь прошумел, как шепот, вздох ... и затих, как будто сочувствие, отклик, прощальная ласка любимой Ахтырки».

Весной 1922 года приезжала в Ахтырку из Сергиева комиссия по изъятию церковных ценностей для голодающих Поволжья. Священником был тогда о. Василий Архангельский. На другой день пыталась помешать изъятию двух икон заведующая Абрамцевским музеем А.С. Мамонтова, действовавшая от имени Главмузея. Ей удалось отстоять лишь одну икону – «Убрус». Ахтырскую икону Божьей Матери, несмотря на настояния Мамонтовой, комиссия увезла, содрав с нее золотой оклад с драгоценными камнями, увезла церковную серебряную утварь, крышки от Евангелий, ризы с икон, напрестольный крест и прочее. (Существует версия, что сама ахтырская икона Божией Матери уцелела. – Т.С.). В 1937-ом церковь закрыли и опечатали. Последнего священника иеромонаха Азария (в миру Александра Богдановича Павлова) арестовали. Обвинили его в «активном участии в контрреволюционной монархической группе монахов и духовенства» и расстреляли на Бутовском полигоне под Москвой 10 декабря

1937 года. А в 1939-ом ахтырская церковь была передана Ново-абрамцевскому творческому коллективу художников под скульптурную мастерскую. Для этой цели ее использовал позднее скульптор Тавасиев, изваявший гигантскую статую Салавата Юлаева, сподвижника Пугачева. Многим запомнилась модель этого конного памятника, долго стоявшая в церкви.

В 1980-х годах Музей «Абрамцево» добился решения о реставрации церкви. К этому времени она была уже полуразрушена. Институт «Спецпроектреставрация» произвел реставрационные работы (руководитель проекта Н.В. Шемшурина), а в 1991-ом церковь передали общине верующих.

Успенское

Успенское – усадьба в 27 верстах к северо-востоку от Троице-Сергиевой лавры. Забытый ныне крестьянский поэт Семен Фомин (1881–1958), родившийся в Успенском, оставил нам ее описание:

*Как сон я вижу: ветхий замок
Екатерининских времен,
Печальных мамушек и няnek
В мечтах, вздремнувших у ворот.*

*Зеркальный шар в кустах акаций
Аллеи лиственниц и хвой
И в парке ряд хрустальных граций
В глуши дорожки круговой.*

*Два триумфальных обелиска,
Храм белый в зелени берез
И за оградой – грузно, низко
Сирень и клумбы алых роз.*

*Над туманенной рекою
По взгорью, в чуткой тишине,
Средь сосен – кладбище людское
От барских склепов в стороне...*

*На грани двух эпох бурливо
Сгорел с балконом старый дом.
И ныне вместо роз крапива
Растет над диким пустырем.*

Стихи эти, не отличаясь художественными достоинствами, правдиво рисуют и облик усадьбы, и ее судьбу. Происходил поэт из окрестностей Успенского, а поэма, из которой взяты приведенные выше строки, являлась, видимо, попыткой подражать есенинской «Анне Снегиной». Стихи Фомина разыскал его земляк Геннадий Кудинов. Он же собрал об усадьбе Успенское массу сведений, составивших большую книгу «Забытая усадьба».

В продолжение нескольких поколений усадьба принадлежала Мухановым. А попала она к первому из этого рода Ипату Муханову (1677–1729) не совсем обычным путем. Прежде она называлась – Новинки и

принадлежала думному дьяку Даниле Леонтьевичу Полянскому. Году в 1681 им была в ней построена деревянная церковь Успения Божьей Матери, и через какое-то время стали называть усадьбу Успенским. Полянский приобрел для церкви резной позолоченный крест 1677 года и икону Спаса Нерукотворного, написанную Симоном Ушаковым в 1679 году, которые и были потом перенесены в каменную церковь. Имелась также в церкви Казанская икона Божьей Матери, считавшаяся местными жителями чудотворной. Усадьбу унаследовал внук владельца Никита Алексеевич Полянский, прапорщик, погибший в одной из битв со шведами. Руководил тем сражением Петр I. На вдове Полянского женился в 1709 году подпоручик морского флота Ипат Калинович Муханов. Был он участником еще детских игр будущего царя, в 12 лет – солдатом потешного батальона Петра в Преображенском, в 20 – был послан в Голландию для обучения морскому делу, совершил немало морских походов, участвовал во многих сражениях. Сам царь часто выходил в море на корабле, которым командовал Муханов. И в письмах к нему Петра, и в данном ему царем ласковым прозвище «Мунгалка» чувствуется особое отношение. Вряд ли получил бы тот Новинки-Успенское, если бы не личное вмешательство Петра – все родственники Полянских претендовали на владения вдовы. Но царь распорядился дать Муханову грамоты на это имение. После смерти жены Ипат Муханов женился на княжне Марии Ивановне Шаховской. Петр был на крестинах их сына. А шелковая рубашка, подаренная Ипату с царского плеча, долго хранилась у потомков. После смерти царя Муханов вышел в отставку в чине контр-адмирала. Здоровье его было расстроено, и вскоре он скончался.

Его младший сын Илья, которому было всего 8 лет, когда он остался круглым сиротой, дал обет построить в усадьбе каменную церковь, когда благополучно разрешится запутанное дело о владении Новинками-Успенским. Видимо, даже вмешательство царя не решило вопроса до конца. Дело закончилось только в 1752 году. А в 1755 году Илья Муханов, служивший в лейб-гвардии Конном полку, побывал в усадьбе на освящении

церкви. В 1763 году приезжала в Троице-Сергиеву лавру Екатерина II. Путь ее лежал в семи верстах от Успенского. В память этого события Муханов возвел в усадьбе три каменных обелиска с шарами наверху. Надо сказать, что Екатерина всегда была к нему благосклонна и не забывала один его поступок. Муханов был в составе конвоя, когда она, опасаясь ареста мужем Петром III, бежала из Петергофа в столицу. Ночь была очень холодная, и будущая императрица попросила офицеров одолжить ей свою верхнюю одежду. Первым на просьбу откликнулся Илья Муханов.

После выхода в отставку в чине полковника он жил в Успенском, Там был и похоронен в 1790 году у алтаря церкви, неподалеку от липового парка и деревянного усадебного дома с колоннами.

Его сын Иван служил в Конной гвардии и, выйдя в отставку в чине бригадира, через два года после смерти отца поселился в Успенском (ум. в 1827). Его брат Алексей (1754–1832) командовал на Кавказе Астраханским драгунским полком, участвовал в сражениях с турками, был ранен, награжден золотым оружием. А затем Екатерина II вызвала его в Петербург и назначила обер-прокурором первого департамента Сената. Уволившись со службы, он также приехал в Успенское и поселился вместе с братом. В 43 года он женился на княжне Варваре Николаевне Трубецкой (1766–1813), сестре князя Ивана Николаевича, того самого, жена которого Наталья Сергеевна и создала в Ахтырке замечательный архитектурный ансамбль. Большая часть жизни княжны прошла в Ахтырке.

Итак, братья жили вместе, и было у одного из них восемь детей, у другого семь. В войну 1812 года вся большая семья, опасаясь неприятеля, бежала в Казань. Там, не вынеся тягот пути, скончалась Варвара Николаевна. Наталья Сергеевна Трубецкая очень сердечно отнеслась к овдовевшему А.И. Муханову, предлагала взять к себе его дочь, приглашала в Ахтырку. Как-то он с дочерьми проездом из Москвы в свою усадьбу побывал в Ахтырке и был встречен «со всевозможным приветствием» И.Н. и Н.С. Трубецкими.

Дочерям Алексея Ильича запомнилось, что они гуляли по парку до полуночи и, «поужинав клубникой со сливками», заснули уже перед рассветом.

Алексей Ильич жил в Успенском, наезжая только по делам в Москву. А дел было немало: еще в 1800 году он был назначен опекуном при Московском воспитательном доме, а также строителем, почетным опекуном и управляющим Мариинской больницы. В связи с этим назначением между ним и императрицей Марией Федоровной велась активная переписка. Сохранилось 134 ее письма к Алексею Ильичу.

Романтическая история, наделавшая немало шума, связана с его сыном Александром. Он был назначен адъютантом к командиру Отдельного финляндского корпуса А.А. Закревскому. В Гельсингфорсе встретился с шестнадцатилетней шведской баронессой Авророй Шернваль (1808–1902), отличавшейся бесподобной красотой. В Финляндии служил и поэт Евгений Боратынский. Он посвятил Авроре несколько стихотворений. Вот одно из них:

*Выдь, дохни нам упоеньем,
Соименница зари;
Всех румяным появленьем
Оживи и озари!
Пылкий юноша не сводит
Взоров с милой и порой
Мыслит с тихою тоской:
– Для кого она выводит
Солнце счастья за собой?*

Стихотворение было опубликовано впервые в 1927 году под названием «Девушке, которой имя было Аврора».

1 января 1825 года Александр Муханов писал в дневнике: «Во время ужина я не отхожу от Авроры; она хороша, как Бог; дышу ею одною и радостно встречаю Новый год... Я счастлив с Авророй до бесконечности». Однако уже через две недели имя Авроры в дневниковых записях исчезает. Александр внезапно уезжает в Успенское. Что же произошло? Можно предположить, что отец Александра был против такого брака, вероятно, из-за

бедности отчима Авроры, главного прокурора Финляндии. Да и отчим красавицы, видимо, не был уверен, что брак с Мухановым будет удачным. Однако он все-таки попросил своего хорошего знакомого статс-секретаря по делам Финляндии графа Роберта Генриха Ребиндера навести справки о поклоннике Авроры. Тот отвечал, что Муханов «обладает твердостью, необычной для его соотечественников, хорошо образован и обладает всеми качествами, которые могут обворожить молодую девушку. Но супружества между лицами, воспитанными в разных вероисповеданиях, редко бывают удачными. Хотя я нахожу, что Муханов мог бы составить в этом отношении исключение. Его отец очень уважаемый человек и, как считается, имеет порядочное состояние. Мать – княжна Трубецкая». Тут информатор ошибся: Мухановы были очень небогаты.

Александр, живя в Успенском, стал упорно добиваться перевода адъютантом главнокомандующего Второй Армией графа П.Х. Витгенштейна. В письмах друзьям он жаловался на хандру и писал, что оживляется одними финляндскими воспоминаниями. Наконец, он получил долгожданное назначение и отправился по месту службы в город Тульчин Подольской губернии. Однако там его ждала совсем иная обстановка, чем та, к которой он привык в Финляндии. Там в его друзьях были такие люди, как Евгений Боратынский и Николай Путята, здесь же он оказался среди равнодушных людей, чуждых литературных интересов. Он стал мечтать об отставке. Но началась война с Турцией. Муханов участвовал в нескольких сражениях, а за взятие приступом города Рахова был произведен в капитаны и получил перевод в леб-гвардии Семеновский полк. Однако здоровье его было расстроено, и, несмотря на открывавшиеся блестящие возможности, он подал в отставку.

И тут в Москве он вновь встретился с Авророй. Прошло уже восемь лет в разлуке. Она была по-прежнему прекрасна, имела неслыханный успех. Подернувшееся пеплом чувство вспыхнуло вновь. Отчим Авроры понял, что Александр доказал свою преданность. Произошла тайная помолвка. Через

несколько месяцев должна была состояться свадьба. Но, приехав в Гельсингфорс, где предполагалось венчанье, Александр заболел. Никто не предполагал, что состояние его серьезно. Церемонию отложили на конец августа, а 1 сентября 1834 года Александр Муханов скончался. Перед смертью, уже не владея речью, он снял с руки обручальное кольцо и, поцеловав его, возвратил невесте. Гроб перевезли в Успенское к безутешным сестрам Александра. Аврора провела в Успенском возле могилы жениха несколько месяцев.

Дальнейшая ее судьба сложилась несчастливо. Она вышла замуж за князя Павла Демидова, но он вскоре умер. Шесть лет спустя ее мужем стал Андрей Карамзин, сын знаменитого историка. Он погиб в бою с турками.

К осени 1871 года относится описание Новинок-Успенского, сделанное священником о. Семеном Никольским: «За полверсты от Новинок, на горе, с которой круто спускается дорога на отлогость местоположения села, стоит каменная колонна, в стиле столбов при городских заставах времен императрицы Екатерины II. Для путешественника с этой местности открывается живописная панорама Новинок и окрестностей. От низменности при отлогости горы поднимается дорога с возвышенными бульварами с обеих сторон, усаженная березками; слева – вначале усадьба, далее – аллеи, расположенные среди подстриженных елок по обеим сторонам дорожки невдалеке высаженного сада; за ними, среди ветвей акации и нескольких деревьев, приятно выделяется овальный купол сельской церкви, увенчанный небольшим трибуном с маленькой главой и четверочастным крестом; направо тянется дорога от села на восток – “проспект”, по местному названию, с вечно зеленеющими деревьями, за которым показывается другой маленький храм сельского кладбища и кровли домов церковного причта; на западной стороне церкви, между окраинами сада с вековыми деревьями и колокольной храма, высится купольный верх барского дома».

В Успенском к тому времени остались только сестры Александра Алексеевича Муханова. Доходность имения они сохранить не сумели.

Сначала пришлось сдать часть земли под строительство химического завода. Потом появился стекольный завод, выпускавший аптечную и питейную посуду. Замуж сестры не выходили, так что последней из них пришлось завещать усадьбу и стекольный завод внучатому племяннику Илье Дмитриевичу Муханову (1852–?). Завод расширил ассортимент: выпускал аптекарскую посуду, предметы для электротехнической отрасли, газового, керосинового и электрического освещения, для фотографии и даже стеклянный кирпич. Были построены также кирпичный и лесопильный заводы. И.Д. Муханов сделал булыжное шоссе от усадьбы к Ярославской большой дороге. А в парке поставили стеклянные статуи («хрустальные грации»), изготовленные на стекольном заводе местными мастерами.

Судьба И.Д. Муханова после революции неизвестна.

Усадебный дом сгорел, видимо, около 1910 года. В 1922 году из города Александрова прибыла в Успенское комиссия по изъятию церковных ценностей. Были ободраны царские врата, покрытые серебром, взяты иконы в серебряных и золоченых ризах с драгоценными камнями, церковная утварь и даже украшения с крышек Евангелия, изданного в 1688 году. Взяли и икону, написанную Симоном Ушаковым, и золоченый деревянный крест. Закрыли церковь в 1929 году. Тогда оставшиеся иконы порубили топорами. Большой колокол 1780 года сбросили с колокольни и разбили. В церкви разместили столовую пионерского лагеря. Потом, в 1936-ом, церковь снесли.

Стеклянные статуи и зеркальные шары в парке давно уже были разбиты. На мраморном монументе, поставленном Александром Мухановым в память покойных родителей, сбили крест и на его место поставили гипсовую голову Ленина. В таком виде памятник передвинули к сельскому клубу. Потом пропала и гипсовая голова. В Успенском были 23 захоронения Мухановых. Могилы разрыли в поисках сокровищ.

В 1937–1938 годах прошли аресты тех, кто работал на стекольном заводе. Было объявлено, что в Успенском создана контрреволюционная эсеровская организация. Завод выпускал емкости для парфюмерной

продукции, и входил в систему Главпарфюмера. А это объединение возглавляла Жемчужина, жена Молотова. Ее хотели арестовать, так что дела на работников отрасли заводили не случайно.

Теперь на карте района нет села Успенского. В 1923 году, видимо, в связи с «религиозным» названием его переименовали в Муханово, а стекольный завод получил название «Красный факел».

О ПРИРОДЕ КРАЯ

Лет десять жил в Сергиевом Посаде Михаил Пришвин. Можно подумать: ну уж он-то сколько, наверное, написал о природе края! Но нет ... Уезжал писатель на Дальний Восток, в Среднюю Азию, к Белому морю, сделал там массу зарисовок природы. А об окрестностях Посада трудно выделить что-то конкретное. Почти нет примет того, что называют гением места. Встречаются описания природы в охотничьих рассказах, в дневниках. Но это могло бы быть написано о любой местности в средней полосе России. Разве только северной части района повезло больше – там Пришвин охотился. Так что приведем слова писателя бесхитростного, но искренне любившего окрестности Сергиева Посада.

Сергей Волков

Несколько лет назад были изданы посмертно воспоминания и дневники Сергея Александровича Волкова (1899–1965), который много лет преподавал в Сергиевом Посаде литературу и русский язык и писал стихи в стол. Он приехал впервые в город зимой 1908 года. Было ему девять лет. Потом были годы учения в гимназии, в Московской духовной академии, кончить ее не пришлось – Академию вскоре после революции закрыли. Дневниковые записи Волкова полны упоминаниями о голоде и холоде, о дырявых калошах, коптилке, заплатанном пальто. Но этот человек даже в тех труднейших условиях замечал красоту природы, сетовал на то, что «подавляющее большинство не только не любит и не понимает красоты, а сознательно стремится истребить ее или ослабить привнесением всяческого ненужного безобразия, которое не оправдывается ни удобствами, ни необходимостью». В записях Волкова видно, как менялся в эти тяжелые годы сам облик города. Особенное огорчение доставляло ему исчезновение садов. Началось оно, конечно, еще до войны. Автор помнил, какими были сады его детства, порой они были похожи на настоящие джунгли. Он вспоминал: «Я был в восторге

от нашего дома на Болотной улице – с маленькой зальцей, столовой и совсем маленькими спальнями. Располагаясь в новой комнате, я вместе с мамой раскладывал свои вещи в маленьком шкафчике, потом катался на лыжах в саду, копался в снегу на дворе, играл с собакой Шариком...

Помню свое первое впечатление от Лавры. Величественные стены, башни, колокольня и соборы потрясли меня. Я увидел их в солнечный морозный день сквозь сетку опущенных инеем деревьев. В памяти осталась красочная яркость монастырских зданий, блистание золотых куполов и крестов в серебряном венке заиндевелых ветвей на фоне золотого неба ... Понравился мне и сам Посад с маленькими пестрыми домиками, весь в садах с заиндевелыми деревьями, с волнистыми, кудрявыми столбами дыма из труб, с красочными, обитыми бархатом санями парных извозчиков, с оживленным, как мне казалось тогда, движением на улицах. Все это, как я сейчас вижу, очень походило на картину Кустодиева "Зима в провинции"»

Первое знакомство с окрестностями города, новые друзья. И сады, сады...

«На Вознесенской улице, где теперь школа № 6, стояли два ветхих и заколоченных домика. Много лет в них никто не жил. Любопытство толкнуло нас пробраться туда. Сад нашего товарища, сына священника Вознесенской церкви Н. Соколова, соприкасался с садом, окружавшим эти дома. Однажды мы незаметно туда перелезли и оказались в старом запущенном и заросшем саду. Огромные вековые дубы, липы и клены, густые кусты, высокая трава, лопухи и крапива делали этот сад похожим на зачарованный лес. Мы с наслаждением пробирались сквозь эту чащу, воображая себя чуть ли не в джунглях.

Вскоре эти дома сломали, большую часть сада вырубали, и новый владелец начал строиться.

Как жаль мне сейчас этого сада! Он был так густ, так красив, несмотря на свое одичание. В настоящее время (1930-е годы. – Т.С.) сравниться с ним может разве только сад Машинского по Кооперативной улице – бывшем

Машинском переулке, в доме которого в первые годы после революции помещался Институт народного образования, ставший позднее Педагогическим техникумом.

Недурен сад у Шафрановых на Первомайской улице, у Александровой – в самом конце Вальной улицы, но они не идут ни в какое сравнение с этими садами: не у них той мощи зелени, вековых деревьев и прямо-таки лесного вида...

Много садов в Сергиевом Посаде погибло за голодные и холодные 1918–1921 годы. Так был вырублен в значительной своей части и сад священника Соколова, где было также густо, где были дивные липовые аллеи, а про некоторые деревья, особенно мощные и старые, сам хозяин говорил, что они, пожалуй, могут быть современниками Сергия Радонежского.

Но все эти сады погибли, а остальные погибают в наше время, как в силу нужды, так и по неразумию. В академическом саду в Лавре недавно срубили несколько больших деревьев, “мешавших”, якобы, электропроводке, а на днях (20.7.32) срубили прекрасный клен около бывшей Трапезной церкви, где теперь находится краеведческий музей. Очевидно, этот клен тоже как-нибудь “помешал” заведующей музеем Лукьянской. Да что говорить: за все 14 лет революции в Лавре не посадили ни одного деревца! Старые деревья не долговечны, и может получиться, что прекрасный архитектурный пейзаж Лавры будет полностью обезображен отсутствием зелени. Но когда начинаешь об этом говорить, то местная власть удивляется и с насмешкой пожимает плечами: “Вот чудак! Да Вам-то какое дело до этого? Ну и пусть рубят. Вам-то что за печаль? Ведь не Ваше это все...”».

Перед войной Волков некоторое время работал в музее. Вот каким он запомнил в ту пору облик Лавры: «В 1941 году, когда я пришел работать в Загорский историко-художественный музей, Лавра уже сильно обветшала. ... Потускнели золотые купола, дожди смывали окраску зданий, осыпались карнизы, растрескивались стены и даже фундаменты, отваливались лепные

украшения, разрушено было почти все “гульбище” Трапезной церкви с его балюстрадой... Чтобы хотя бы частично починить фундамент колокольни, администрация музея сняла с могил вокруг Трапезной почти все надгробия. Их обтесывали в плиты, которыми латали обветшавший, осыпающийся фундамент...

Большая часть деревьев засохла, в том числе четыре больших кедра и два вековых вяза в академическом саду. Часть – вымерзла, но спилили много и вполне здоровых деревьев, поскольку, по мнению высокообразованных и чутких к красоте сотрудников музея, они мешали “эстетическому восприятию памятников архитектуры”».

Немало в воспоминаниях Волкова и записей о прогулках в окрестностях города. Вот как он рассказывает о лете 1933 года, которое он провел со своим младшим товарищем Валентином. «Одной из сил, сблизивших нас, была природа. Мы оба страстно любили лес ... Мы уходили километров за 10 от Загорска, чаще всего в сторону Царьградского оврага. Там было глухо и таинственно. Длинный овраг тянулся извилинами. На дне песок, камни. По краям обрывы, то мрачные с темными вымытыми углублениями, запутанными свисающими корнями деревьев, то отлогие, сверкающие ярко-желтым, а иногда белым песком с большим количеством слюды. То и дело огромные деревья, упавшие во время гроз или весеннего половодья, преграждали путь. Кругом – ни человеческого голоса. Только свисты птиц и жужжанье пчел и мух. Мы чувствовали себя совсем отрезанными от цивилизованного мира, и это доставляло огромную радость...

Как хорошо я помню эти светлые дни. Мы выходили часов в 7–8 утра, а возвращались часто к 10 вечера. Немного белого и черного хлеба, иногда дешевый сыр – вот спартанская пища, которую мы захватывали с собой. Воду пили из речки. И чувствовали себя бодрыми и здоровыми. По дороге к оврагу делали привал у назарьевской речки, где купались, а потом, после Назарьева, подходили к которой мы оврагами, окутанными волшебной

синеватой дымкой, мы вступали в густые дубовые рощи, которые перемежались кленовыми зарослями. Затем начинался огромный хвойный лес с просеками и вырубками, где было много земляники, и приближались к заветному спуску в овраг.

Было во всем что-то таинственное – и тишина в сверкании солнечного дня, и безлюдье полное кругом, и следы зверей на песке (а один раз мы видели даже молодого волчонка, который испуганно убежал при нашем появлении), и, наконец, различные геологические и притом редкостные отложения, в которых Валентин уже умел разбираться и растолковывал их мне. Над головами – шум леса, шорохи, шелесты густой высокой травы по склонам. Огромные, почти в человеческий рост колокольчики с крупными голубыми цветами; малина, которую, видно, там никто не собирал»...

«Красива местность за Черниговским скитом. Лиственный лес перемежается густыми еловыми чащами, где постоянный сумрак и прохлада даже в самые знойные дни. Кое-где встречаются вырубки, заросшие кустарником. Всюду краснеет цветущий “иванов чай”. Среди леса то и дело попадаются большие поляны, окаймленные ольховыми кустами. Как все это дивно и сладко для сердца, любящего нашу русскую природу! Высоко, высоко поднимаются над всем лесом отдельные огромные сосны. Их красноватые стволы, прямые, как свечи, с пышными темно-зелеными вершинами красиво выделяются на фоне глубокого ясного неба. Пряно пахнет подсыхающее сено. Несчетными голосами гудят, свистят мухи, пчелы, кузнечики. Приятно лежать в тени куста, поворошив сено, и глядеть, как к полудню из-за леса начинают выплывать белые закругленные облака. Медленно ползут они по лазурному океану, чуть золотясь под солнцем. Но вот их все больше и больше. Доносится издали что-то напоминающее глухое ворчанье: это туча поднимается за лесом. Надо спешить собирать сено в копны. Легкий ветерок приятно раздувает рубашки, мы гребем, болтаем, смеемся...

Сколько раз во время таких прогулок мы попадали под дождь, который переживали в какой-нибудь чаще, наблюдая, как сумрак сразу охватывает всю местность, ели воют, раздается треск сухих ветвей и скрип деревьев. Лес становится тогда жутким. Что-то исключительно северное, даже первобытное, чувствуется в нем. Все это так увлекательно и интересно! А дивные осенние прогулки, даже самой поздней осенью, когда все листья уже облетели и мягким мокрым ковром лежат под ногами! Деревья стучат голыми ветвями, и унылая бесприютная луна мелькает меж ними, кочуя из облака в облако...

Как сейчас вспоминаю одну прогулку ранней осенью. Мы вышли на большую поляну, сплошь заросшую молодым осинником. Деревца были немного выше нашего роста. Листья на них были все желтые. Изредка возвышались одинокие высокие осины, одетые в пурпур. Вечерело. И вдруг сзади брызнули красно-золотые лучи закатного солнца, прорвавшегося сквозь серые облака, закрывавшие все небо. Мы пробирались среди трепетания золотых и алых листьев, вдыхая свежий и горьковатый осенний воздух. Чувствовалось что-то сказочное в этом позднем великолепии, и я помню, как сказал другу, что мы кажемся зачарованными странниками, ищущими чудес в волшебном лесу...

Я, к сожалению, не мог ходить на лыжах, и эти прогулки Валентин устраивал без меня. Но мы всё же бродили по окрестным лесам, выбирая тропинки. Приятно оказаться среди осеребренных инеем деревьев. Сквозь стволы видны небольшие поляны, покрытые пышным белым снегом, Изредка проглянет бледное солнце и тотчас же скроется – редкий гость нашей суровой зимы. Начнет падать мелкий снежок. Случайная ворона, каркая, пролетит куда-то. И тишина, безграничная тишина зимы, о которой так дивно писал Некрасов».

Война... Волков записывает в дневнике:

«28.7.43 г. До чего милая жизнь довела! Шел и огорчился – гибнут сады во всем Загорске. И от топора, ради дров и доступа солнца в огороды, и от

бомбоубежищ, которые понарыли везде, и они стоят, наполненные водой, грозя детям, а по ночам и взрослому человеку потоплением. И сами деревья сохнут без конца. Почва что ли изменилась, но от бывшего Посада, сплошь утопающего в кудрявых садах, и следа не осталось. Даже Красюковка, самый красивый “зеленый район”, и та порастеряла свои сады. Грустно и больно мне видеть, как оскудевает и разрушается мой родной город!»

И все же, все же в дневниковых записях военных лет встречаются и такие строки: «19.7.43 г. Когда ходил в монастырь (в Черниговский скит – Т.С.) обедать и возвращался, все глядел на облака. Как они хороши над зеленью загорских садов, из которых поднимается верх стройной колокольни! Издали весь город кажется утонувшим в садах...».

А вот запись о поездке в Москву:

«4.9.44 г. Какое множество утомленных и вконец истомленных людей! Очень редки веселые и жизнерадостные лица ... Все же больше глядел в окно, на пейзаж, на маленькие домики, окруженные садами, огородами. Почти нигде никаких цветов, всё картофель! Знамение времени!».

Конечно, большинство людей во время войны сажало возле домов картошку. И все-таки и в эти годы были те, для кого цветы, видимо, были необходимы, как хлеб. Волков писал: «25.6.43 г. Вчера заходил к Флоренским. Олю, сожалению не застал. Хорошо у них в саду. Получил букет – розы и пион».

Как бы ни была скудна и тяжела жизнь, для Волкова всегда оставалась природа и оставалась Лавра. Вот он идет поздней осенью по делам за несколько километров от города пешком: «...дорога, которая так утомляла при ежедневном хождении, теперь, в серый осенний день, показалась мне приятной. Поле и лес. Небо в тучах, покрытые рябью пруды под ветряными порывами. Деревья, безлистые и строгие, ели с их воющим тревожным шумом ... Всё пробудило снова глубокие мысли. В городе такие мысли не рождаются на ходу. Мельканье людей и экипажей рассеивает. Убогие дома и грязь, уродство и нищета на каждом шагу вызывают желание не глядеть, не

замечать, и невольно погружаешься в свои думы, стараясь скорее миновать это безобразное окружение, чтобы открылась глазам, наконец, милая, прекрасная Лавра. Каждый раз, как я ее вижу, со всех сторон, с самых различных точек наблюдения, при каждом новом освещении эта дивная единственная Лавра всегда прекрасна, всегда дает мне что-то новое, раскрывает свою насыщенную в веках душу, успокаивает, врачует издерганные нервы, радуется красотой, углубляет мысль и насыщает меня новым содержанием». (28.10.43 г.).

Борис Пастернак

Благоприятным было лето 1927 года для Бориса Пастернака, который провел его на даче в Мутовках – деревне, в семи километрах от станции Хотьково. Вернувшись в Москву, он писал: «Три с половиной месяца провел в прекрасной местности без видимой пользы». Действительно, он написал в то лето не так много стихов. В их числе «Ландыши», «Сирень» «Любка». Сам Пастернак назвал их «ботаническими». Овраг, над которым стоял дом, где жила семья Пастернака, был полон ландышей. Здесь, в этом овраге, поэт ощутил как-то необыкновенно ярко, что человек и природа существуют на равноправных началах: он смотрит на деревья, и они тоже смотрят на него. И ландыши смотрят:

*...Жары нещадная резня
Сюда не сунется с опушки.
И вот тыходишь в березняк,
Вы всматриваетесь друг в дружку.*

*Но ты уже предупрежден.
Вас кто-то наблюдает снизу:
Сырой овраг сухим дождем
Росистых ландышей унизан...*

А сиренью была полна вся деревня, и гудели пчелы – хозяйева, сдававшие дачникам жилье, держали ульи:

*Положим, – гудение улья
И сад утопает в стряпне,
И спинки соломенных стульев,
И черные зерна слепней.*

*И вдруг объявляется отдых,
И всюду бросают дела:
Далекая молодость в сотах,
Седая сирень расцвела.*

.....
*И тучи играют в горелки,
И слышится старшего речь,
Что надо сирени в тарелке
Путем отстояться и стечь.*

А в стихотворении «Любка» перечислено несколько растений. В одном из вариантов было сказано даже так:

И ночь распахивает свой гербарий...

Но потом поэт изменил это четверостишие:

*Когда на дачах пьют вечерний чай,
Туман вздувает паруса комары,
И ночь, гитарой брякнув невзначай,
Молочной мглой стоит в иван-да-марье...*

Родственница Пастернака А.Н. Вильям вспоминала, что бывало, – он с прогулки приносил ночную фиалку, всегда только один цветок – это ведь довольно редкое растение – и ставил потом в стакан с водой. Прошло 80 лет. И не видно теперь любок, да и ландышей поищешь. Только сирень еще осталась.

Легко заметить, что «ботанические», стихи полны приметам весны. А потом ... Уж очень была богата местность ягодами, грибами, орехами. В письме сестре Жозефине в Лондон поэт писал, как он собирал ягоды с маленьким сыном: «Жаркий летний полдень. Встали, как часто в последнее время, в седьмом часу. После чаю с Женичкой отправились в лес за соседнюю деревню. Он – на обрыве, место называется Маланьина гора. Сейчас пора покоса, ты догадываешься, чем дышит ветер. Мы пошли по

ягоды. Помнишь младенчество? Вызови его в памяти и ты вживе увидишь и Женичку с корзиночкой в руке и со страстью в глазах, тонущего на корточках в густой сочной траве, глушащей пни и кочки на этой полосе прошлогодней лесной порубки. А в ней не менее милые тебе крупные зернистые рубины изомлевшей от зрелости земляники. Мы были так поглощены сбором, что в двадцати шагах от тропки... прозевали Маргариту, точно ее не бывало, да и бесследно пропали для нее. Правда – холмист и густ этот ягодник, а густой березняк, в котором все это происходит, так ослеплен солнцем, что нет материи и краски, которая бы в этот час не показалась бы частью его горячей зелени. Ты его видишь? Он замер в упругой белизне берез и водянистых переливах молодой, словно отечной дубовой листвы, в этом, синевой облитом, бесподобном море. Мы идем босиком, ступая прямо на круглые теплые лапы греющихся на дорожке теней. Она вдруг круто заворотами сгущающейся зарослью, как сквозь ночь, бежит книзу, а там река. Ольха так низко свесилась к ней, что прямо с корней лежит на собственном отраженьи. Это лесное зеркало в полном ее обладаньи, под нее тут только нырнуть, но никак не подплыть.

Я могу работать и хочу, и полон надежд, но как исключителен режим, в котором это удается. Тогда земляники втроем собирать нельзя...»

Письмо написано 13 июля. Потом, как вспоминала родственница поэта А.Н. Вильям, ходили в Артемовский лес за малиной, за грибами, собирали подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки. Но из всех грибов только сыроежки упомянул Пастернак в стихах того лета:

*Недолго приходится ждать.
Движенье нахмуренной выси, –
И дождь, затяжной, как нужда,
Вывешивает свой бисер.*

*Как к месту тогда по таким
Подушкам колеи непроезжих
Пятнистые пятаки
Лиловых, как лес, сыроежек!*

Борис Шергин

А в'идение сергиевской земли, как святой, ярче всего выражено у Бориса Шергина, много лет прожившего в Хотькове. Он писал: «В нашей русской природе есть некая великая простота... Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина – на первый взгляд она схожа с горошиной. Но взглядишь в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче, не краше ли перламутра тонкая пелена облаков над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василек? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение – икону “Святая Троица”?»

«Посети Радонежскую землю. Ты увидишь холмы то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо ... Если ты любишь Сергия, любишь святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и Его: с деревянным ведерышком. Он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот Он поднялся на взлобье холма, поставил тяжелое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом. Сейчас он любит лесною прекрасною пустынею, что бескрайно простерлась у его ног...»

ХУДОЖНИКИ В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Константин Юон и Владимир Соколов

Вспоминая Сергиев Посад начала XX века, Константин Юон (1875–1958) писал: «Сильно взволновали меня красочные памятники этого сказочно-прекрасного городка, исключительного по ярко выраженной русской народной декоративности». Облик Посада, Троице-Сергиевой лавры, созданный художником, кажется более правдивым, чем настоящий. Так, человек, привыкший к картине по яркой репродукции, порой бывает разочарован, увидев подлинник.

Сергиев Посад Юона – городок, слегка похожий на игрушку. Красочный, чистый... Художник, как ребенок, любит снег. На фоне снега так ясны и четки красные башни, зеленые крыши, розовые церкви, синие и золотые купола. Так празднично это сочетание красок! Как пред царевичем Гвидоном, предстал перед художником «чудный город со дворцом, с златоглавыми церквями, с теремами и садами». И он остановился в восхищении и не может оторваться от тех видов, что открылись ему с привокзальных улиц и переулков. А если и отрывает взгляд от Лавры, то обращает его на такую яркую – красную с белым – Рождественскую церковь, что раньше была видна с Вокзального переулка. Взгляд приезжего ... Только в 1921 году Юон стал писать Лавру с других точек зрения: с западной и с северной стороны.

В пейзажах Юона обычно присутствуют люди. А еще лошади, собаки ... Но художник видит их большей частью издали. В 1920-е годы некоторым казалось, что «в его человеческие фигуры введено нечто от кукольных картонажей». Но посмотрим, например, на картину «Троицкая лавра зимой» (1910). Конечно, сначала взгляд приковывает красавица Лавра. А потом начинаешь всматриваться в движение на улице. Хотя сам художник утверждал, что на него оказали большое влияние французские

импрессионисты, в изображении уличной толпы у него нет с ними ничего общего. У Камиля Писарро это именно толпа, неизвестно куда спешащая. Французского художника интересует передача света, воздушной среды, но никак не люди. А у Юона толпы собственно нет. Есть «сама народная жизнь, оживлявшая это историческое место». Мы видим тех, кто едет и идет пешком к Троице, и тех, кто возвращается с богомолья. Замечаем позы извозчиков, различаем масти лошадей, запряженных в сани. Присмотревшись, различим и местных жителей: вот встретились две женщины – одна присела на перила мостика, вот бегут мальчишки, а вот еще две женщины остановились поговорить.

Один из искусствоведов писал, что «пейзажу нетронутому или украшенному человеком, Юон противопоставил изображение природы обездоленной, изуродованной накипью человеческой жизни». Это мнение высказано в 1920-е годы. Сейчас все видится иначе. Посмотрим на картину «Весенний солнечный день» (1910). На переднем плане две девушки, объятые весенним томлением. (Художник сделал несколько подготовительных рисунков молодых крестьянок, чтобы изобразить эти персонажи). В лица девушек заглядывает пожилая женщина. Тут же мы видим детей, забравшихся на забор, на крышу, катающихся на санках по последнему снегу, А вот паренек играет с собакой. Кажется, что куры, и домики, и заборы рады весеннему солнцу. «Уродливый пейзаж»? «Человеческая накипь»?

Сейчас посадская жизнь, изображенная художником, кажется такой устойчивой, упорядоченной ... Возникает даже легкая ностальгия по ней, как при чтении книги Шмелева «Богомолье». И сам художник в 1950-е годы писал, что тогда, в начале века, была совсем другая жизнь, ее «устои казались нерушимыми. Четыре времени года делили его на части, в которых бытовая сторона домашней, семейной жизни определялась во многом церковными праздниками».

А.Эфрос писал о Юоне, что тот «выбирает неожиданные точки зрения, с которых природа кажется не очень знакомой, а люди не слишком обыденными». Наверное, с самой неожиданной точки зрения написана картина «Купола и ласточки». Людей на ней совсем не видно. Далеко-далеко внизу домики, утопающие в зелени садов, дымок паровоза, очень четкие, будто увиденные в перевернутый бинокль, строения Лавры: красная башня и розоватая церковь Сергия Радонежского. 1921 год. Разруха и голод. Но художник не хотел видеть уродства человеческой жизни. Он видел облака, птиц, золотые кресты, возносящиеся в вечно голубое небо.

Картины Юона со временем стали историческими документами, как стали историческими документами «рисунки городов и сел, народных типов и костюмов, сделанные в XVII веке художниками, сопровождавшими немецкого посла Мейерберга во время его путешествия по России». В самом деле, сейчас уж не встретишь на улицах города лошадиных упряжек, другой стала одежда. Изменился и облик Лавры. И только на картинах Константина Юона остался образ города – праздничный, звонкий, невозвратно далекий.

В 1922 году художник создал серию черно-белых автолитографий видов Посада, прощаясь с любимившимся городом. Наступала новая жизнь, где не было места любованию церковной архитектурой и старым укладом провинциальной жизни.

В те же годы, что и Юон, создал образ Сергиева Посада менее известный художник – Владимир Иванович Соколов (1878–1946). Родился он в селе Никольском Рыбинского уезда Ярославской губернии. Закончил в 1894 году Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ). Большое влияние оказал на его художник-пейзажист В.В. Переплетчиков. И Соколов увлекся пейзажем. После окончания училища он познакомился с И.И. Левитаном (1860-1900), трепетное отношение к которому сохранил навсегда. В воспоминаниях известного гравера И.Н. Павлова (1872–1951) описан такой эпизод его совместного с Соколовым путешествия по Волге во время Первой мировой войны. «Приехав в Плес и оставив вещи на хранение,

мы пошли в город искать квартиру. Владимир Иванович шел с ликующим видом.

Плес удивительное по пейзажному уюту и тишине место ... Но поскольку Плес не раз был предметом внимания различнейших художников, я не надеялся найти здесь новые пейзажные темы. Зато Владимир Иванович с чисто благоговейным чувством паломничал по городу.

Было сыровато, только что прошел дождь, когда мы вступили на плесскую землю. Но у Владимира Ивановича не хватило даже терпения искать квартиру. Он заторопил меня:

– Пойдем сразу посмотреть то место, где Левитан писал часовню к картине «Над вечным покоем».

Подъем на гору был очень крут, и я решил идти в обход, но мой товарищ, не взирая на трудности, полез по склону, карабкаясь по мокрой траве. Дойдя до половины горы, он полетел назад, весь перемазавшись в глине. Я видел это падение и поспешил на место приземления друга. Пришлось идти к реке и замывать крылатку ... В Плесе мы пробыли несколько дней. Владимир Иванович, скрывая от меня, заглядывал чуть ли не в каждый двор. Страсть его к этим дворикам и провинциальным домам буквально бушевала в нем; в Плесе он, кроме того, все искал “левитановский дворик”».

В.И. Соколов принимал участие во многих выставках – сначала ученических, затем Товарищества передвижных художественных выставок, Московского общества любителей художеств, галерее Лемерсье и др. Работал маслом и акварелью. Но материальное положение семьи было трудным, прожить, занимаясь только искусством, оказалось невозможным. Художнику пришлось взяться за управление одним запущенным имением в провинции. Однако эта работа не избавила от нужды да и оставляла мало возможностей для занятий творчеством.

В 1902 году Соколову удалось изменить жизнь благодаря знакомству с Сергеем Тимофеевичем Морозовым (1862–1950), попечителем кустарных

промыслов Московского губернского земства. Произошло это знакомство, видимо, в мастерской И.И. Левитана. Морозов так ценил дарование этого художника, что предоставил Левитану жилье во флигеле своего дома и устроил для него там мастерскую. Познакомившись с Соколовым, Морозов предложил ему место преподавателя рисования и черчения в Земской учебной мастерской в Сергиевом Посаде. Это было в 1902 году.

Посад издавна был известен кустарными промыслами, связанными с потребностями богомольцев, стекавшихся к Троице-Сергиевой лавре. Соколов писал: «Вещи кустарей были оригинальны, цветисты, примитивны, и редкий богомолец не нес из Посада коня или куклу, свисток или ложку».

Года через три Соколову полностью подчинили художественно-столярную мастерскую, и на него легла масса обязанностей: заготовка древесины, сушка ее, распределение заказов в мастерской и по деревенским кустарям-надомникам, заказы токарям, наблюдение за отделкой мебели, приемка изделий от деревенских кустарей, расчеты с мастерами, наблюдение за школой рисования. И еще каждую неделю Соколов должен был ездить в Москву, в Кустарный музей, где Морозов собирал совещания с просмотром изделий.

Однажды Морозов принес на такое совещание несколько купленных им в кондитерском магазине шкатулок, украшенных выжиганием с росписью, и сказал: «Французы заполонили все магазины, а мы спим». Было решено наладить подобный промысел в Сергиевом Посаде, образцы делал Соколов. По его словам, он использовал рисунки на прялках из собрания Исторического музея и собственные пейзажные зарисовки и этюды. Как писала о прикладном творчестве художника Е. Куценко, «при выполнении зимних пейзажей он накладывал краски плотным слоем, отчего они становились похожими на эмали, приобретая яркость и чистоту звучания. Художник любил контрастные сочетания белого снега и яркого пятна архитектурного памятника, и это придавало особую декоративность его коробочкам ... Для создания же лирических осенних пейзажей В.И. Соколов

применял иные художественные эффекты, например, оставлял в композиции большие плоскости естественного цвета дерева, которое, просвечивая сквозь тонкий слой лака, становилось золотистого цвета – основного цвета русской осенней природы». При этом художник выработал особый, упрощенный и доступный для кустарей способ росписи, который стали называть «соколовским».

Сергиевские кустари быстро освоили новую технику и начали выпускать украшенные таким образом пасхальные яйца, елочные игрушки, шкатулки и пр. Изделия «шли ходко» через Кустарный музей в Москве и Склад кустарных изделий в Петербурге. Вскоре стали торговать ими и с заграницей. На выставках в Петербурге, Париже, Льеже, Милане, Лейпциге изделия с «соколовской» росписью получали медали и почетные дипломы.

Первая мировая война прервала производство художественных кустарных изделий. Столяры учебной мастерской были переведены на изготовление мебели для учреждений Красного Креста, а деревенские кустари стали делать костыли для раненых. У Соколова появилось больше свободного времени. И в 1916 году открылась новая страница в его творчестве. Произошло это благодаря И.Н. Павлову. Личное знакомство художников состоялось еще в 1907 году. «Живопись Соколова, ученика Левитана и Переплетчикова, – писал Павлов, – полная лиризма и глубокого понимания пейзажа, крепко запала в мое сознание, и я многому в ней учился в смысле постижения поэзии отдельных уголков природы».

Павлов долго старался привлечь Соколова к занятиям гравюрой, но тот упрямо отказывался. Тогда Павлов пошел на хитрость. «В один из своих приездов в Сергиев Посад, – писал он, – я мирно беседовал с Владимиром Ивановичем. За разговором я попросил его, блестящего знатока Троице-Сергиевой лавры, нарисовать один из лаврских уголков. Он начал искать материалы, а я тем временем подсунул ему литографскую бумагу и свой карандаш. Рисунок был быстро исполнен и отлично передавал уголок знаменитого исторического монастыря. Не давая хозяину опомниться, я

перевел разговор на какую-то животрепещущую тему, а рисунок незаметно положил в свою папку.

Приехав в Москву, я отправился в литографию Сытина к лучшему мастеру-переводчику Прохору Герасимову и дал ему перевести рисунок Соколова на камень... Оттиски удались на славу, и я повез их в Сергиев. Во время беседы я сказал Владимиру Ивановичу:

– Володя, хочешь, я тебе подарю твой рисунок?

– Какой? – вскочил он, как ужаленный. – Я тебе его не давал.

Должен сказать, что Соколов в то время был скуп на рисунки и никому их не дарил.

Я вынул из папки пятнадцать оттисков рисунка и развернул перед изумленным хозяином. Он только развел руками:

– Вот уж не понимаю, как ты меня обошел!

И с этого времени я соблазнил Владимира Ивановича цветной литографией, гравюрой же я увлек его позднее. Я развил Владимиру Ивановичу целый план – серьезно заняться литографиями Лавры...

Долго и серьезно трудился Владимир Иванович над своими литографиями, и в 1917 году увражное издание его «Троице-Сергиевой лавры» увидело свет. Оно произвело переполох среди присяжных литографов – так безукоризненно были выполнены все листы. Покровительствовавший этому изданию С.С. Голоушев только один раз позанимался с Владимиром Ивановичем, – всю техническую премудрость он осваивал самостоятельно... Увидев это издание, Сытин ахнул от удивления:

– Вот какие художники мне нужны для литографии, а не вы – мазилки! – говорил он».

Об альбоме литографий Соколова «Сергиев Посад» Голоушев, писавший под псевдонимом Сергей Глаголь, так высказался во вступительной статье: «Владимир Иванович Соколов не историк и не архитектор, и потому не ищите в его рисунках ни главнейших достопримечательностей Лавры, ни ее наиболее ценных исторических или

религиозных памятников. Не их он хочет показать в своем альбоме, – он только художник, чуткий к красотам родной старины, и вот он точно подошел к вам и зовет пойти с ним сделать прогулку по Лавре, Посаду и окрестностям. Пойдемте, – зовет он, я покажу вам, какая здесь повсюду красота, и сколько в красоте этой родного искусства».

В 1922 году в издательстве «Книгопечатник» была выпущена серия небольших литографий цвета сангины «Уголки Сергиева Посада». К этой серии и серии «Старая Москва» Соколова дал вступительную статью В.Я. Адарюков. Он считал большой заслугой художника воскрешение литографии, основательно вытесненной к тому времени фотографией и другими механическими способами. Адарюков писал о работах Соколова: «Эти превосходные литографии положительно отмечены печатью отличного дарования и производят свежее и глубокое впечатление. По превосходному рисунку, тонкости исполнения, гармоничности красок, умелому подбору тонов и их глубине, литографии В.И. Соколова напоминают знаменитые работы В.Ф. Тимма, – самую блестящую эпоху расцвета у нас литографии.

Подобно своему учителю Левитану, В.И. Соколов элегичен, какая-то тихая грусть, левитановское настроение чувствуются во многих его работах. Видна громадная любовь к старине, большой вкус в выборе мотивов, напряженное любование натурой, тонкая и гармоническая передача природы. Техника В.И. Соколова уверенна, даже виртуозна, но без хвастовства техникой, которое отличает некультурного художника».

Соколов увлекся также линогравюрой, брал уроки этой техники у И.Н. Павлова. В этой технике он сделал несколько серий, в том числе «Сергиев Посад».

Когда в 1925 году в Сергиевом Посаде был создан филиал АХРР (Ассоциации художников революционной России), Соколов стал членом, а в 1928–1930 годах председателем этой организации. В 1928 году в связи с 35-летним юбилеем со дня появления первой картины Соколова на выставке в МУЖВЗ в Сергиевском историко-художественном музее открылась его

выставка – первая персональная выставка в летописи художественной жизни города. Общее собрание сергиевских художников составило письмо с ходатайством о присвоении Соколову звания заслуженного художника республики. Тогда же Правление Сергиевского музея обратилось в Отдел по делам музеев Главнауки с просьбой возбудить ходатайство о награждении Соколова званием Героя труда.

Еще в 1920 году Соколов был приглашен на работу в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры сначала в качестве члена Комиссии, а потом он был выбран ее председателем, и продолжил работу в созданном Комиссией Сергиевском историко-художественном музее помощником хранителя (1925–1928). Участвовал в устройстве ряда выставок: художественной, кустарной, архитектурной, шитья и тканей XIX века, а также кабинета гравюр.

В 1927 году Соколов выполнил в технике ксилографии иллюстрации к путеводителю по Сергиевскому музею, получив уроки гравюры по дереву у И.Н. Павлова. Еще ряд работ в этой же технике Соколов сделал в 1930-х годах. Несомненна любовь художника к старым русским городам. Но он отвечал и на требования времени: выполнил цветную литографию «Смотр войск в дни революции в Сергиевом Посаде» (1917). Гравюру «Постройка памятника В.И. Ленину в Загорске в 1925 году» (1927) и др. В 1930-е годы побывал в Донбассе с группой художников, направленной в промышленные районы страны для создания работ к выставке «Индустрия социализма». Сделал серию рисунков и акварелей «Старое и новое Сталино». В марте 1946 года художник скончался.

Соколов прожил в Сергиевом Посаде более половины своей жизни. Запечатлел этот город в технике литографии, линогравюры, ксилографии и в декоративных росписях прикладных изделий. Наибольшими достижениями мастера, на наш взгляд, являются выработка собственного стиля украшения деревянных изделий выжиганием с росписью и создание особенного облика Сергиева Посада в цветных литографиях. То и другое, несомненно,

взаимосвязано – недаром Павлов писал, что прикладные работы В.И. Соколова напоминают ему японскую гравюру.

Рассматривая увраж цветных литографий Соколова «Сергиев Посад», кажется порой, что художник часто и места не выбирал: где остановился, там и рисует. Вот, например, на листе «Митрополичьи покои» мы видим фрагмент фасада Митрополичьих покоев, показанный как-то сбоку, наискосок. Или в изображении Каличьей башни художник позволил себе срезать изумительно стройный ее шатер (лист «Северная стена»). Подобная фрагментарность изображения характерна и для работ Соколова в области прикладного искусства. Во всяком случае, меньше всего литографии похожи на фотографии и по композиции, и по цветовой гамме – ведь холодные цвета полностью отсутствуют в этих работах.

На литографиях и на прикладных изделиях схожи пейзажи с деревянными строениями. Художник изображает их в осеннюю пору, когда желтая листва деревьев оживляет ландшафт («Ильинская слободка», «Церковь Успения Божией Матери в Гефсиманском ските»).

Весьма интересно сопоставить литографии Соколова, сделанные в 1916 и 1917 годах, на что до сих пор не обращали внимания исследователи его творчества. В первых опытах контуры очерчены темными линиями, что напоминает работы художника в области прикладного искусства. Художник порой стремится оживить пейзаж введением человеческих фигур и применением ярко-красного цвета («Иконные лавки», «Успенские ворота Лавры»).

В 1917 году Соколов уходит от этого. Исчезает жесткость контуров. Теплые мягкие краски создают единую цветовую гамму. Есть чудное русское слово «сумерничать» В нем тишина, задумчивость... Снег теряет свою белизну, сглаживается его контраст со строениями, возникает особое ощущение вечернего уюта в час, когда сумерки сравнивают цвет неба и цвет снега («Пятницкая церковь»). Или заиндедевские купола и деревья будто растворяются в туманном воздухе («Успенский собор»).

А порой все внизу уже окутывают вечерние тени, только вспыхивает кусочек стены в луче закатного солнца, совсем золотой, как неокрашенное дерево под слоем лака («Митрополичьи покои», «Паперть Трапезной церкви»).

Небо Владимира Соколова – золотое, палевое, светло-серое с теплыми отсветами, светоносное небо Сергиева Посада ... Не о таком ли небе писал Б. Шергин, глядя на небо над Радонежской землей: «Каким видел это небо преподобный Сергей, таким видим и мы, ...какова эта ненаглядная, серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта таинственная жемчужность и сейчас».

Юон увидел Сергиев Посад глазами приезжего, пораженного красотой, и создал праздничный образ города. Вл. Соколов смотрел на Посад как на что-то родное, свое, привычное. В его литографиях 1917 года город полон очарования печальной красоты.

Два портрета (Борис Кустодиев)

Кто не знает кустодиевского портрета Шаляпина на фоне русской Масленицы? Но почему художнику пришла в голову мысль написать Шаляпина в шубе? Была зима. Мариинский театр решил поставить оперу «Вражья сила», а декорации заказать Борису Кустодиеву (1878–1927). С этим и пришел к нему Шаляпин. Художник предложил ему попозировать в шубе. Как вспоминал певец, состоялся тогда такой разговор:

« – Шуба у вас больно такая богатая. Приятно ее написать.

– Ловко ли? – говорю я ему – Шуба-то хороша, да возможно – краденая.

– Как краденая? Шутите, Федор Иванович.

– Да так, говорю – недели три назад получил я ее за концерт от какого-то государственного учреждения. А вы ведь знаете лозунг: «Грабь награбленное».

– Да как же это случилось?

– Пришли, предложили спеть концерт в Мариинском театре для какого-то, теперь уже не помню какого дома. И вместо платы деньгами али мукой предложили шубу ... Предложили мне выбрать...

– Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне».

Шуба была, конечно, краденая. Точнее – экспроприированная, как тогда выражались. Кто был ее владелец – уже расстреляли его или еще томился он в застенках ЧК, или, может, просто замерзал в нетопленной квартире, мы не узнаем. А вот шубу запечатлел художник навеки. Но почему певец, как это принято, не снял ее, войдя в комнату? Потому, что то была зима 1919 года. Не было дров. Художник лежал в холодной комнате. Лежал потому, что уже несколько лет ноги его были неподвижны – опухоль спинного мозга, неудачная операция...

А фон картины? Мог ли художник поместить фигуру Шаляпина на фоне голодного, замерзающего Петрограда? Он, у которого в одном из последних писем есть такие слова: «Любовь к жизни, радость и бодрость,

любовь к своему “русскому” – это было всегда единственным “сюжетом” моих картин». И вот фоном стала декорация к опере. Ведь той жизни, которую так любил Кустодиев, больше не было. Остались только на холсте балаганы, трактиры с вывесками, грозди воздушных шаров, лошади, веселый праздничный люд – Россия, которую мы потеряли.

Чтобы прикованный к постели мастер мог создать картину такого большого размера, друзья сконструировали ему совсем особый мольберт – навесной. Картину укрепляли горизонтально. Ее можно было передвигать так, что художник видел то один, то другой ее кусок. И он писал, преодолевая боль.

Пожалуй, нечасто встретишь портрет человека в шубе и шапке, если, конечно, он не полярник, не покоритель Севера. Случай редкий. Но не единственный. Есть среди автопортретов Кустодиева такой, где он изобразил и себя в шубе. На фоне зимнего пейзажа. Пойдите ... Да ведь какой знакомый пейзаж! Вон купола со звездами – Успенский собор, Пятницкая башня. Ну да, такой была башня до пожара 1920-го года. Как же так? Любил художник волжские города: Нижний, Кинешму, Кострому, родную свою Астрахань. Костромской край называл второй родиной. Но всегда улыбался, когда его уверяли, что он изобразил на картине тот или иной город. Сборный мол, образ. А тут вот она – Троице-Сергиева лавра. Не ошибешься! Бывал ли он в Сергиевом Посаде? Приезжал один раз. В письме жене писал: «...был 4 дня в Сергиевской Лавре, кое что поработал. Там очень интересно. Был у резчиков-кустарей – смотрел, как делают игрушки и режут из дерева иконы». И дата: 16 июля 1912 года. Летом был! В чем же дело?

Во Флоренции, в знаменитой галерее Уффици, собраны автопортреты лучших европейских художников. И в 1910 году министр искусств Италии обратился к трем русским – Репину, Серову и Кустодиеву с просьбой пополнить это собрание. Через два года Кустодиев и создал этот «зимний» портрет. Должно быть, решение пришло в голову, когда он побывал в Лавре. Что же получилось: автопортрет или, может быть, портрет России? Для

европейцев страна наша – снежная, морозная. Давно ли они думали, что зимой у нас по улицам медведи бродят? И вот не какой-то веселый, русский, но неузнаваемый город видим мы на портрете. Здесь духовный центр России. Самой историей дышат могучие стены и башни Лавры, ее соборы и церкви. А сегодняшняя жизнь – вот она, милая сердцу художника провинциальная жизнь кипит у стен монастыря: прилепившиеся к башне лавочки с вывесками, люди, лошади ... И стоят как сметаной облитые русские березы.

Смотрит на нас художник с портрета... Лихо закручены усы. Как будто чуть-чуть улыбается. А в глазах грусть. 1912 год ... Уже начались боли, которые приведут к неподвижности? Или чувствует, что носится в воздухе: недолго ей быть такой, его России?

Уехал Федор Иванович за границу, увез и свой портрет. Стоит Шаляпин точь в точь в такой же шапке, в какой писал себя когда-то художник. Когда-то? Да еще и десяти лет не прошло. Стоит певец в краденной шубе, оборачивается на Россию, которую покидает ... Да и нет уже ее, той России.

Художник сделал с шаляпинского портрета копию. Она теперь в Русском музее, в Петербурге. А автопортрет Кустодиева в шубе мало кто видит из русских. Далеко Флоренция. Осталась нам только фотография.

«...в плену загорских очарований» (Александр Осмеркин)

*Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья весело-сухие,
И теплый ветер нежен и упруг.*

Эти строчки Анны Ахматовой вспоминаются при взгляде на пейзаж Александра Осмеркина (1892–1953) «Водяная башня. Дворик Лавры». Он написан именно «перед весной». Как это чувствуется во всем! И в освещенных ветках дерева, и в прозрачно-голубом небе, и в уже обнажившихся от снега покатых боках купола башни. И в том, что внизу, в тени, снег такой синий-синий... «И легкости своей дивится тело...» – продолжила Ахматова первую строфу. Такая легкость ощущается и картине. Может быть, художник тогда тоже вспомнил эти строки. Он мог даже слышать их от самой Ахматовой, когда писал ее портрет белой ночью в Питере, перед открытым окном Шереметевского дома, где она тогда жила. И недаром же в двухтомник Ахматовой составители включили пейзажи только одного художника – Осмеркина. Его роднила с Ахматовой любовь к поэзии, к Пушкину. И в гармонии цвета, во внутренней раскрепощенности художника, которой дышит пейзаж, ощущается пушкинское начало.

Пейзаж написан в 1944 году. В начале февраля Академия художеств, перед тем как вернуться в Ленинград из Самарканда, из эвакуации, приехала в Загорск и остановилась в нем на полгода. Близок был конец войны. Казалось, что мир после нее окажется просветленным и обновленным.

И, может быть, художник впервые так пристально взгляделся в древнюю русскую архитектуру. Вот он и «оказался в плену загорских очарований», по собственному признанию. Более двадцати работ успел он сделать за тот короткий срок, что Академия находилась в Лавре. Особенную

известность приобрела одна из них: «Натюрморт на фоне Уточьей башни». Как неслучаен выбор сюжета! Многих художников привлекала Лавра. Немало и тех, кто писал задушевную природу Радонежья. Но так сочетать то и другое в одной картине, не удавалось, кажется, никому. Художник взял всего лишь малый фрагмент лаврской архитектуры: одну башню, нет, не башню – лишь верх одной нежно-розовой башни да розово-красные крыши, и малую частицу природы края: букет простых полевых цветов с пижмой, с ягодами калины. И все это в воздухе, в свете, в зелени листвы... Удивительная гармония архитектуры и природы!

Больше десяти раз приезжал он летом в полюбившийся город, писал и березовую рощу, и пруд, и улицы города, и овраг, и, даже гостиничный номер, и, конечно, Лавру. А в дождливые дни – цветы. Почему же мы не видим этих картин в Сергиевом Посаде? Разошлись они по разным адресам. Есть в Русском музее, в Третьяковской галерее, в Бишкеке, Новосибирске, Брянске, Одессе, Нальчике, Риге, Челябинске, Красноярске, Ростове, в частных собраниях разных городов ... В Абрамцевском музее, кроме «Букета на фоне Утичьей башни», есть еще две картины. Сергиево-Посадский музей-заповедник имеет два полотна этого художника.

Как же случилось, что замечательную «загорскую сюиту», расчленили, разобрали на части? Почему не остались эти картины в Загорске? Сейчас трудно понять причину до конца. Видимо, во время войны было не до того. А потом художника почему-то причислили к воинствующим формалистам. В 1947 году лишили возможности преподавать. Художник В.К. Тетерин вспоминал, как однажды с товарищем решил навестить своего тяжелобольного учителя. «Когда мы выезжали из Москвы, была прекрасная погода, но постепенно небо заволкло облаками и стало накрапывать. В Загорске мы нашли нужную улицу, но почему-то не могли найти дом и довольно долго блуждали по улице взад и вперед. Внезапно дверь одного домика открылась, и на пороге появился очень изможденный человек в длинной блузе неопределенного цвета, в холщовых, как-то странно, трубами,

торчащих штанах. Мы не сразу узнали в этом человеке Осмеркина. Он пригласил нас войти. Разговор зашел о живописи, и Александр Александрович захотел погулять по городу и показать нам пейзажи. Он шел, тяжело опираясь на наши руки, но, несмотря на слабость, с прежним темпераментом показывал какой-нибудь овраг с лепящимися по склонам домиками, или старинный архитектурный мотив, или заводил нас в какой-нибудь полюбившийся ему дворик. Внезапно поднялся ветер. По небу шли черные тучи, и быстро темнело. Надвигалась гроза. Мы стояли возле дощатого забора, на краю оврага, заросшего высокими деревьями. И вдруг Осмеркин, держась одной рукой за забор, поднял лицо к небу и с какой-то дикой энергией, грозя кулаком навстречу приближавшейся туче, выкрикнул короткое, но яростное проклятие чиновникам от искусства, мешающим подлинному творчеству. Как будто в ответ ему раскатился чудовищный удар грома, и с неба на землю обрушился буквально потоп. Когда спустя три часа мы с Ф. сели на обратный поезд, то сразу же посмотрели друг на друга и сказали в один голос: "Король Лир!"».

Не собрали картины мастера в любимом его городе. Жаль ... Но может, это и хорошо. Хорошо, что люди, живущие в разных городах, могут увидеть полотна Осмеркина, утверждающие гармонию мира и красоту Сергиева Посада.

ПРИЛОЖЕНИЕ. ДЕТСТВО В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ

Валентина Николаевна Аверьянова, в замужестве Арешкина, родилась в Сергиевом Посаде в декабре 1918 году, в семье игрушечника. Ее воспоминания относятся к периоду 1920-х – первой половине 1930-х годов. Они записаны в 1998 году Т.В. Смирновой.

«Каждого праздника ждали по-особенному. На Рождество елку ставили, со свечками. Игрушки у нас красивые были, покупные, из стеклянных бусинок. Меня Христа славить не пускали. А к нам любили ходить, привечали в нашем доме ребят-славильщиков. Часа в 2–3 стучат в калитку. А у папы уже на подоконнике монеты столбиками сложены – по две, три, пять копеек. И мешочки приготовлены с печеньем, с конфетами разными, побольше или поменьше, смотря как дела шли в том или ином году. Папа дверь откроет, и ребята начинают с порога Христа славить. Поют: “Христос рождается, славите...”. Кто больше знает, кто меньше. А кто еще какие стихи прочтет дополнительно. Группами ходили по два человека, по три, по пять. Со звездой. Звезду из бумаги цветной склеивали. А кто каждый год ходит, так из досочек, и бычьим пузырем обтягивали. Внутри свечка горит.

И елка вся в огоньках. Так было хорошо, так весело! Даже когда елку запрещали, славить приходили. Тайно ставили.

Славить больше бедные ребята приходили. У меня сердце даже замирало. Одеты плохо, на каком и пальто со взрослого надето. Я прошу: “Папа, побольше дай, смотри, какой он!”.

Папа мой был кустарем, игрушки делал – собак, кошек, зайцев. Мягкие игрушки. Я помогала. В пять лет палец на машинке прошила – зайцу уши пришивала. Я единственная дочка была. Папа организовал артель “Единение”, потом она стала фабрикой игрушек. А он из артели ушел, опять игрушки стал дома делать. Лавочка у нас была. Целый ряд лавочек стоял от

Пятницкой башни к Красногорской площади. Когда НЭП кончился, палатки эти стали постепенно закрывать. Дольше всех Шишкин держался, дядя Миша. Канцелярскими товарами торговал.

На Крещение кулачные бои были на Белом пруду и на Кукуевке – городские с кукуевскими бились. Я сама не видела – папа рассказывал. Он веселый такой приходил с боев. Потом с конной милицией стали запрещать. Говорили, что это пережиток старого, купеческого. У Кустодиева картина есть “Масленица” – думаю: это наш город изображен. С Вокзальной ехали, заворачивали на центральную улицу – Московскую. А сани-то полированные, да с инкрустацией, а то расписанные. И дуги, расписанные или резные, с колокольчиками, с бубенчиками. Бубенчики от самого маленького, с ноготок, до самого большого, медные, начищенные, блестят. Ленты и к дуге, и к гриве привязаны, на головах у лошадей кокарды. С пологом ездили – у кого меховой, а больше плюшевый, мехом отороченный. На лошадях попоны с кистями. Люди все нарядные. Женщины, девушки в шالях, огромных, с цветами, а то – в клетчатых. Лица яркие. Мужчины больше в шапках каракулевых, пирожком. Молодые в картузах добротных, драповых.

Так мчались, так мчались: с песнями, с гармошками, со смехом... У кого своя лошадь, а кто извозчика наймет. У извозчиков тоже на масленицу и сани, и лошадь изукрашены. Извозчиков-то было в Сергиевом Посаде неисчислимо – от вокзала проходу не давали. Помню: мне девять лет было, а подружке Тане – семь. Нас отпустили смотреть катанье. Публики стояло за коновязью – пушкой не пробьешь. Длинная такая коновязь была вдоль дороги, это где рынок у Пятницкой. Сани несутся, снег так и брызжет из-под копыт! До булыжника снег бывало перемешат. Папа тоже как-то нанял извозчика, усадил меня с подружкой в сани, покрыл пологом. Помчали кони! Мы сначала испугались немного, а потом осмелели. Какая это была радость!

Еще в 1929 году катанье было на масленицу.

А блины начинали запекать в понедельник, но пока не в каждом доме и еще как-то неторжественно, вяло. А со среды – на всю широту, по-праздничному. У каждой хозяйки свои рецепты. Некоторые их в секрете держали. Ели блины со сметаной и с молоком – и в окунку, и в прикуску, и со сметками, и с икрой разных сортов. Была икра и очень дешевая. Кто уж совсем бедно жил – соседи блинов принесут, и молочка, и сметанки, и еще чего. Шел праздник не без рюмочки, но пьяных не было видно – меру знали, да и закуска была хорошая.

Веселился народ ото всей души. И никто эти праздники не организовывал – все стихийно. Это-то и было хорошо.

В Вербное воскресенье все в церковь шли. Сейчас с вербой в церковь ходят, а тогда из церкви вербу несли. Мы в Ильинскую ходили. Там внутри, в переходе, прямо огромный куст вербы стоял. После службы раздавали ее, кому сколько достанется. И надо было эту вербочку со свечкой горящей до дому донести: сколько старанья было! И неопишуемая радость, если огонек не погас. Мне папа потом купил фонарик. Я свечку в фонарик ставила. У кого погаснет, просят: «Дай зажечь!» А как дать? Откроешь фонарик – и моя свечка погаснет. Какая-то торжественность в этом была.

А на Пасху... К ней заранее готовились. Пост ведь и перед Рождеством был. А вот перед Пасхой как-то особенно ярко пост помнится. Папа на Пасху студень варил, мама пироги пекла. Огромный окорок тестом обмазывали и в русской печи запекали. Гуся делали. Куличей штук пять – это на семью в три человека. Пасхи – от маленькой до огромной.

Папа доставал специальную краску пищевую, яйца красить. А потом ее не стало. Какую-то другую покупали, плохую – в яйца проходила. Ее почему-то фуксином называли. Фуксин ведь малиновый?.. А она разных цветов была. Вот луком не красили. И на Троицу тоже красили яйца в разные цвета. Катали яйца на Пасху и во дворе, и перед домом, и к Никольской церкви ходили, на бугры. Там и хороводы водили. На гулянье приходили группами. А катали на деревянных лотках – неглубокие такие желобки в доске, разной

длины, разного цвета. Были лотки полированные. Их в Сергиевом Посаде продавали. С одной стороны приставочка. А место выбирали, чтоб наклонное было – маленькую горочку. Каждая группа себе местечко находила, где травка зеленая, низкая. А то еще стучали яйцо об яйцо. И еще была игра – в лоб стучать яйцом. Не помню уж, в чем та игра состояла...

На Троицу с такой радостью мы ходили в церковь. В Ильинской было так торжественно и красиво. Церковь была переполнена людьми. Детей особенно много. И все с букетами. А после освящения цветы домой приносили и ставили их возле икон, хранили целый год. И у кого скот был, часть этого букета клали в сено, чтоб его не ели мыши. Такая была примета.

На Троицу ходили на кладбище. На Кукуевском было как бы гулянье. Возле входа палатки со сладкой водой, конфетами, печеньем. Кто на свои могилки ходил, кто просто гулять. А после обеда уходили на бугры за Келарским прудом. Прыгали, играли, хороводы водили, песни пели. Раз на Троицу самолет там сел, у Никольской церкви. Весь город сбежался. Ребят катали на самолете. Я не решилась, а Лида Телицына осмелилась. Мы ей потом безумно завидовали.

Вечером возле домов играли. Вдоль улицы перед праздником березки ставили, наряжали их ленточками. А в домах на Троицу украшали иконы зеленью – ветками березы, клена, липы. И у порога мама клала вместо коврика осоку.

На следующий день после Троицы – в Духов день – мы на Никольское кладбище ходили. Там могилки наших родных. Священники панихиды служили. И все их зазывали: “К нам, к нам!..”. Одаривали гостинцами и священников, и друга. Все знали, что в этот день надо помянуть умерших.

Возле домов мы играли в прятки, в догонялки, чижик, лапту, лунки. Лунки эти досочкой закрывали, чтоб землей их не засыпали. В кости еще играли. Из бараньих лодыжек кости. Сначала подкинешь кость, а остальные надо по одной схватить, потом по две, по три... В мяч были разные игры, в классики. Мужчины в городки весной играли. Сейчас этих игр нет почти.

Как бугры высохнут, мы за сморчками ходили в липовый лес. Листья старые разгребали и собирали. Сколько их было! Потом за земляникой! На нашей улице жила Татьяна Алексеевна Корнева. Она во все дела вникала. Ее вся улица уважала и слушала. Она команду давала: «Пора за ягодами идти». За земляникой ходили и мамы, и дети. Смеялись, играли, бегали... А за малиной мама ходила с соседками, меня не брала – далеко. Они в Малинники ходили с ночи. Ведрами малину приносили. И варенье варили, и сушили, и с сахаром в погреб ставили.

А к осени за рыжиками! Смотришь, среди ельника полянка песчаная и вся желтая. И ходить не надо. Сядешь и ползаешь. Каждый набирал в свою корзиночку или ведерочко и высыпал в кучу. Горы рыжиков набирали! Потом кто-нибудь из ребят бежит домой, зовет родителей. Те приходят с большими корзинами. Рыжики солили и мариновали. Самые маленькие – в бутылках.

У нас был большой участок у дома – 35 соток. Половина травой зарастала. Высокая была трава. И два пруда было. Чистый – мыться, посуду мыть, корову поить. И поганый – там белье полоскали. А для чая и обеда воду с водокачки носили. На коромысле приятно так нести.

В огороде сажали много всего. Первый овощ был огурец. Лук сажали, много гороху – отменный был горох. Мы помидоры сажали. Ими мало кто занимался. У нас очень близко подпочвенные воды были. Потому грядки делали высокие. Что можно – свеклу там, морковь, лук-чернушку сажали с осени. А весной в межу не войдешь – жидкая грязь. Клали тоненькие досочки. Меня мама лет с трех брала за шиворот, за платишко и на досочку ставила. Давала прутик: делай “Ты носиком вниз сажай”, – велит. Под взрослым-то доска прогнется, а я легонькая... Лейку большую мама не разрешала поднимать. У меня маленькая была. А так хотелось из большой поливать.

Была у нас одна чудо-яблоня. Все мои подружки ее помнят. Росла, как куст – в семь стволов. И на каждом яблоки разного вкуса. У людей через год

яблоки, у нас – каждый год. Всех одаривали. Во время финской войны яблоня замерзла. А у соседей была огромная липа. Ее спилили, и пень оброс молодыми липками. В этом пне жила семья ежей. Вот яблоки начинают падать. Идешь в сад – слышишь: храпит здоровый мужик. Подойдешь, а под яблоней лежит на спине еж, раскинув лапки. Спит и храпит. Он большой был, наверно, старый. Возьмешь веточку и пощекочешь его по животику. Встрепенется, взглянет и побежит. И катался на яблоках. По пять–семь яблок на колючки нацепит, убежит под забор и возвращается уже без яблок. Я ему яблоки нарочно в кучку собираю. Он не боялся. Покатается, нацепит опять яблок на колючки. Был уже как свой, как родной человек. А то с ежишкой приходил и с крохотными ежонками. Они тоже по яблочку уносили. Я с ним, как с человеком, разговаривала, а он похрюкивал.

Сено мы на своем участке для коровы накашивали. У Корневой барометр был. Вдруг она кричит со своего крыльца соседкам: “Нужно сено начинать косить! Барометр идет на “ясно” – как раз успеем”. Утром слышно – все косы отбивают. Многие к моей маме ходили – она хорошо умела отбивать. 120 пудов накашивали – два воза. На корову хватало, излишки мама отдавала. Земля была унавожена, да тимофеевку с клевером подсекали. А картошку у нас мало кто сажал – она дешевая была.

Еще росла у нас береза такая большая, что два человека ее не могли обхватить. А рядом липа. У нее ветки опускались до земли. Получалось, как беседка. Мы, девчонки, там жили. И еще была рябина. Ветки росли как-то без наклона, и я сделала там себе шалаш. Мы там уроки учили. В войну все три дерева пришлось на дрова спилить. Было потом так странно смотреть на наш сад. Очень грустно было.

Еще летом, на Казанскую, была в Посаде ярмарка – карусели, гигантские шаги, качели, кольца... Цирк приезжал. Всякими сладостями торговали, игрушками, лентами. Люди ходили на ярмарку семьями. А вечером – гулянье: от кинотеатра до Переславки и обратно. Так кругом и ходили. Дети – впереди. Встретятся со знакомыми – остановятся,

поздороваются. К этому дню наряды шили – себя показать. Из деревень чего только на ярмарку ни привозили! Возами везли и соленье, и печенье, и жареное, и вареное.

Коля Барченков (Николай Иванович Барченков, народный художник России –1918–2002 – Т.С.) базар нарисовал почти пустой. Наверное, он его очень поздний помнит. А в двадцатые годы базар был – не пройдешь! И голубей столько! И сколько их за день передавят! На базаре весы большие были. Это у входа в парк. На них возы с товаром въезжали. Свалят потом сено или овес, или что там, а телегу взвесят.

Яблочный Спас отмечали не как сейчас. Сейчас каждый несет в церковь яблоки. А раньше возами их закупали. Всегда красивые, яркие. А после освящения батюшка раздавал верующим. Детям по два-три яблока, а кто победнее, тому и пяток. Ребята некоторые по нескольку раз старались подойти. И с такой радостью с этими яблоками домой неслись! У нас дома были яблоки, но эти вкусней.

Ближе к осени мама за опятами ходила, меня не брала. Их сушили, или мама жарила в топленом масле и в банках маслом заливала. Сантиметра полтора-два слой масла. Ставили банки в подпол и по торжественным случаям вынимали баночку, варили картошку. Это шикарно было. Про маму говорили: “Вот выдумщица!”. Солили в кадках рыжики, чернушки. А маленькие рыжички мариновали в бутылках и сургучом запечатывали.

Осенью все запасали впрок. Убирали овощи на огороде. Картошки сажали тогда в городе мало. Ее из деревень привозили на продажу. Торговались насчет цены – каждый год цены были разные. Хранили картошку в подполе. Но у нас близко грунтовые воды были, так что весной картошку подтапливало. Мама моя очень хорошо огурцы солила и капусту квасила. Капусты у нас на семью из трех человек заготавливали две двухсотлитровые кадки. Они в сарае стояли, в яме. А кадки с огурцами в коридоре стояли, и огурцы никогда не замерзали – так их мама укутывала. Со всего Посада к нам приходили, просили продать огурчиков, капусты тем, кто

болеет. Мама никогда не продавала. Наложит огурцов в кастрюлю, в миску, а то и в полу. И меня посылала с бидончиком – капусты отнести. Я и к Флоренским носила, когда Павла Александровича уже посадили.

Мочили всегда две-три банки брусники. Клюкву тоже заготавливали, но не так много. Тогда не консервировали, а варили много варенья. Из яблок варили, из малины, клубники, из лесной земляники – мое любимое, – из крыжовника, смородины. Никогда у мамы варенье не прокисло, не засахаривалось.

Поздней осенью запасали рыбу, больше карпа (мама говорила – карпию). А я больше всего любила карасей прудовых. Рыбу привозили в рогожах, мороженую. Зимы тогда были хорошие, устойчивые, не как теперь. И рыбу хранили всю зиму в чулане, в кадках и рогожных кулях. И щучки там попадались, и подлещики. Посты тогда соблюдали, так что рыба была нужна обязательно.

На нашей улице у всех пруды были – разводили гусей, уток. Осенью их резали и вешали на чердаках. И баранов резали и тоже вешали. Они дешевые были. Отрубали кусками по необходимости. Так что жизнь получалась экономная.

Мы, пока сухо было, на улице играли – в прятки, в чижику, в лунки. Просто сидели на лавочке, разговаривали, пели, хохотали. А на Кукуевке и на Штатной – гармоника, пляски – русская, елец, барыня... Частушки!

Осенью девочек сажали за рукоделия. Вязали кружева крючком. Тогда комбинаций не было, были рубашечки. К ним кокетки кружевные вязали и еще медальоны круглые и ромбами, вшивали их в белье. У наволочек углы вывязывали, иногда и середину. Подзоры к кроватям у всех были кружевные. И на спинку кровати подзор вешали. Еще скатерти вязали. В каждой семье две-три скатерти было. И белые, и цветные. Ели на кухне или в столовой на чистом столе или на клеенке. К празднику стол скоблили ножом. А в зале – стол со скатертью. Скатерть всегда нарядная, иногда кружевная, иногда вышитая или цветная льняная.

Вышивали. Старались друг друга перещеголять – доставали особые рисунки. Вышивали “ришелье” кокетки к рубашечкам, шторы. Крестом – кофточки, полотенца. Носки, чулки вязали на спицах. Все вечера были заняты. Пока электричества не было, с керосиновыми лампами сидели, с семилинейными, а кто побогаче – с десятилинейными. Лампы были висячие, как люстры, и настольные. Были обыкновенные, а были очень красивые. Когда электричество появилось, его экономно разрешали жечь. Кто посильней лампочку вкрутит, штрафовали.

А на демонстрацию в Октябрьские праздники мало ходили – историей народ не интересовался.

В первый класс я пошла в Красную школу, потом она школой имени РККА называлась, а теперь там гимназия. Форму тогда не носили. Но все равно мне папа купил коричневое платье, только фартучка не было. Купили ранец – не на спину, а с ручкой, дерматиновый, боковинки деревянные. И пенал – светлый, лакированный, с задвижной крышкой. В нем отделения для ручки с пером, карандаша, резинки. Для перьев делали мы вытиралки: сшивали суконные кружочки, побольше–поменьше, краешки с бахромой, а сверху басонная пуговица из ниток и еще петелька, чтоб удобней брать. Вытиралки были разноцветные. Потом они, конечно, чумазыми становились. Чернила носили в стеклянной непроливайке, отдельно, в мешочке, носили. А в партах тоже были чернильницы – в специальные углубления вставлялись. Одна чернильница на двоих. Тетради мне у Шишкина купили – в две линейки, и в три, и в косую, и в клетку – для арифметики. Все удивлялись: “Откуда у тебя такие прекрасные тетради?” Потом и у Шишкина, в конце НЭПа, бумага стала хуже.

С собой в школу брали завтрак – бутерброд какой-нибудь. А в школе давали булочки и чай. Бесплатно. Кружки все приносили из дома. Стояли они в тумбочке. Каждый брал свою кружку. Я наливала сладкий чай – меня учительница к тумбочке “прикрепила”. И каждый брал булочку. Потом булочки отменили.

У нас дореволюционная учительница была – Прасковья Васильевна Корнева, настоящая учительница. А потом, в третьем классе, молодая учительница пришла, из новых. Меня невзлюбила. Третий класс я плохо помню.

С раннего детства папа покупал мне книжки. Целая стопа была дешевых изданий сказок Андерсена на тонкой бумаге. Потом были сказки братьев Гримм, с цветными картинками. Но из всех книжек больше всего помню сказку “Красная рукавичка”. Я ее у Тани Корневой брала. Книжка на толстой бумаге, почти на картоне. Там царство снежинок, снежный замок – весь блестит. На страницах голубые звездочки. И теперь, когда за окном идет крупный снег, я вся ухожу в сказку, вспоминаю эти картинки. И еще “Серебряные коньки” помню книжку. Сколько там доброго!

Когда я в пятом классе училась, директор школы Ваганов все школы в одну соединил. Пятых классов было семнадцать! Я училась в пятом “С”. И классы по сорок человек. Уроки в разных зданиях. Мы, как измученные зайцы, бегали из одной школы в другую. Вечно с мокрыми ногами. Ужас!

Учителя были больше старой закалки. Добрым словом их вспоминаю. По естествознанию был Шевалдышев, старый, интеллигентный человек. Мы у него сидели, открыв рот. Он не казенным языком рассказывал, а очень живо. Был учитель с какой-то птичьей фамилией – его все боялись. Сухопарый, черный, злой. Не дай Бог – дверь скрипнет. Идет по коридору – все разбегаются. Некоторые учителя исчезали. Весь литературный кружок исчез. Его вел Сергей Александрович Волков. Мы звали его СерВо. Он литературу блестяще преподавал. Меня звал “способным зайцем”. Году в 1934 или 1935-м все восемь человек из литературного кружка пропали. Один только не был арестован. Из восьми вернулись двое: Сережа Савицкий и Женя Мирский. Через десять лет. Волков как-то уцелел тогда.

Почти у всех девочек были альбомы. В них стихи друг другу писали и всякие пожелания. Альбомы эти запрещали тогда. У меня сохранился альбом тех лет. Подруг у меня было много. Но особый след в душе оставила Шура

Трубецкая. Дома ее Татей звали, а она это имя не любила. Знаете, к ней даже блатные мальчишки относились с нежным чувством. Она действовала облагораживающе. Была в ней какая-то кристальная чистота. И даже обормоты смотрели на нее, как на что-то святое. Она написала мне в альбом:

ВАЛЕ

*Когда мы будем жить в разлуке,
И ты не будешь знать, где я,
...Тогда возьми альбом свой в руки
И вспомни, кто любил тебя.*

Это она мне перед новым, 1934 годом, написала. Нам по 15 было. Почему она о разлуке написала? Через несколько месяцев Трубецких выслали в Среднюю Азию. Седьмой класс Шура не успела закончить. А в восьмой ее там не приняли. Она писала мне. Только ее письма сохранила...

Жили он бедно. Мама – Елизавета Владимировна – любила детей, но не хозяйка она была. Если есть деньги, купит детям сладостей. Шура говорила: “Нам бы лучше картошки, крупы...” В шестом классе у Шуры ботинки совсем развалились. Левый был привязан обыкновенным шпагатом. А я была членом учкома. И добилась, чтобы ей оказали помощь – ботинки купили. Сказала: “Я не знаю, кто такие князья. Знаю, что человек ходит с привязанным ботинком”. Принесла ботинки ей домой. А Шура и говорит: “Я не могу взять. Мне гордость не позволяет”. Я ее уговаривала, упрашивала. Поставила потом ботинки в сенях у двери и ушла. Дверь на улицу у них не запиралась. Может, их кто чужой взял. На ней я их не видела. Погибла она в лагере. В 1943 году. Я письма ее 50 лет хранила. Только ее письма. Недавно отдала Андрею Владимировичу Трубецкому. Она хорошо училась».

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамцево. Художественный кружок; живопись; графика; скульптура; мастерские. Л., 1988.
2. Адарюков В.Я. Автолитографии Владимира Ивановича Соколова. Вступительная статья к альбому «Уголки Сергиева Посада» и «Старая Москва». М., 1922
3. Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Л., 1984.
4. Амбарцумова О.И., Кузнецова А.Г., Макарова Т.Н., Невский В.А. Музей-заповедник «Абрамцево». Очерк-путеводитель. М., 1988.
5. Арешкина В.Н. Воспоминания о Сергиевом Посаде // Братина. Сергиев Посад, 2000.
6. Бондаренко И.Е. Художественный облик Лавры // Троице-Сергиева лавра. М., 2007.
7. Боскин Сергей, протодиакон. Последняя пустынь // Троицкое слово. Сергиев Посад, 1990. Вып. 2.
8. Бочаров Г.Н. Деятельность художников по возрождению народного искусства. Абрамцево и Талашкино // Русская художественная культура конца XIX—начала XX века (1895–1907). Изобразительное искусство; архитектура; декоративно-прикладное искусство. М., 1969. Кн. 2.
9. Волков Сергей. Возле монастырских стен. Мемуары, дневники, письма. М., 2000.
10. Воспоминания дочери [о Беневоленском]. Зеркало (газета, Сергиев посад) № 22. 6 июня 2002. С. 12.
11. Ганешин Д.С. Ахтырка. Записки краеведа // Панорама искусств. 1981, № 4.
12. Глаголь Сергей, Грабарь Игорь. Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество. М., изд. Кнебель. Б/д.
13. Глаголь Сергей. Вступительная статья к альбому «Владимир Соколов. Сергиев Посад. Автолитографии». М., 1916–1917.
14. Голицын Сергей. Записки уцелевшего. М., 1990.
15. Голубцова М.А. «Тогда еще не загасили лампы...» К свету (альманах), №14. Б/м, б/д.
16. Горожанина С., Куценко Е. Вступительная статья к буклету «Владимир Иванович Соколов». Загорск, 1990.
17. Дайн Г.Л. Русская игрушка. М., 1987.
18. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. М., 1994.
19. «Доброхотным иждивением русского народа» (к истории создания в Кремле памятника Государю Александру II) // Дворянское собрание (альманах). 1997. № 6.
20. Дульский П.М. В.И. Соколов // Казанский библиофил, 1921.
21. Дурылин Сергей Николаевич. В своем углу. М., 2006.
22. За Христа пострадавшие. Гонения на Русскую Православную Церковь. 1917–1956. Биографический справочник. М., 1997. Кн. 1.
23. Ильин М. Путь на Ростов великий (От Москвы до Александрова). М., 1973.
24. Ильин Николай. Из воспоминаний библиотекаря // Альманах библиофила. М., 1990. Вып. 27.
25. Каптерев П.Н. Из истории Троицкой лавры // Троице-Сергиева лавра. М., 2007.
26. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830–1910-х годов. М., 1978.
27. Комаровская А.В. Наша жизнь в Сергиевом Посаде // Братина. Сергиев Посад, 2000.
28. Кошелев В.А. Аксаков Сергей Тимофеевич // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. М., 1989. Т.1.

29. Круглова О.В. Владимир Иванович Соколов. М., 1958.
30. Кудинов Геннадий. Забытая дворянская усадьба. М., 2004
31. Кустодиев Б.М. Статьи, заметки, интервью. Встречи и беседы с Кустодиевым. Л., 1967.
32. Куценко Е. Владимир Иванович Соколов (1872–1946). Живопись, графика, прикладное искусство. Загорск, 1990.
33. Куценко Е.В. Всероссийская академия художеств в Загорске (1944) // Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения 2000. М., 2000.
34. Куценко Е.В. Сергиевский филиал АХРР // Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения 1995. М., 1995.
35. Лихачев Д.С. Земля родная. М., 1983.
36. Маслеников Н.Н., Бакушинский А.В. // Русские художественные лаки. М., 1933.
37. Нащокина М.В. Ново-Томниково // Дворянские гнезда России. М., 2000.
38. Осмеркин. Размышления об искусстве. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1981.
39. Павлов И.Н. Моя жизнь и встречи. М., 1949.
40. Прахов Н.А. Старое Абрамцево. Воспоминания детства. Музей-заповедник «Абрамцево», 2008.
41. Пришвин М.М. 1930 год // Октябрь, 1989. №7.
42. Пришвин М.М. Дневники. (1928–1929). М., 2004.
43. Пришвин М.М. Дневники. (1930–1931). СПб, 2006.
44. Свирин А.Н. Сергиевский историко-художественный музей. Б. Троицкая лавра // Подмосковные музеи. Путеводители. М.–Л., 1925. Вып. пятый.
45. Смирнова Т.В. Лишенцы города Сергиева: 1920-е годы. // Труды государственного исторического музея. М., 2004. Вып. 143.
46. Смирнова Т. Святые окрестности Троице-Сергиевой лавры // Подмосковный летописец, 2008. № 3.
47. Смирнова Т. Сергиев Посад в русской живописи // Подмосковный летописец, 2008, № 1.
48. Смирнова Т.В. Сергиев Посад Константина Юона и Владимира Соколова. // Русское искусство. 2006. № 2.
49. Смирнова Т.В. Усадьба Ахтырка и князя Трубецкие. Сергиев Посад, 2006. Смирнова Т.В. Ю.А. Олсуфьев: материалы к биографии Труды государственного исторического музея. М., 2005. Вып. 158.
50. Спирина Л.М. Покровский монастырь в Хотькове. Сергиев Посад, 1996.
51. Ткаченко В.А. Радонеж. Сергиев Посад, 1997.
52. Троице-Сергиева лавра. Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, 1919.
53. Трубецкой А.В. Пути неисповедимы (отрывок) // Братина. – Сергиев Посад, 2000.
54. Трубецкой Евгений. Из прошлого. М., 1917.
55. Трубецкой Евгений. Три очерка о русской иконе. М., 2003.
56. Урусова Н.В. Материнский плач Святой Руси. М., 2006.
57. Филимонов К.А. Новая Гефсимания. М., 2000.
58. Филимонов К.А. Черниговский скит: формирование ансамбля // Сергиево-Посадский музей-заповедник. Сообщения 1995. М., 1995.
59. Фиолетова Н.Ю. История одной жизни // Минувшее (Исторический альманах). М., 1992.
60. Фудель Сергей. «В крепкой ладье». К свету (альманах) №14. Б/м, б/д.

61. Хрунова Н. Архитектор Троице-Сергиевой лавры Александр Латков // Вперед (газета Сергиево-Посадского района) № 80 (03. 08. 2002).
62. Хрунова Н.В. Спасо-Вифанский монастырь. Сергиев Посад, 1996.
63. Чачко М. Памятные странствия // Жизнь и творчество Алексея Мусатова. М., 1987.
64. Шевелева О., Савельев Ю. Михайловское // Дворянские гнезда России. М., 2000. Шенталинский В. Удел величия // Огонек, 1990. №45.
65. Шереметев С.Д. Свято-Троицкая Сергиева лавра. М.,1898.
66. Шергин Борис. Изящные мастера. М. 1990.
67. Шмелев И.С. Богомолье. М., 1994.
68. Шик М.В. Колокольня и колокола // Троице-Сергиева лавра. М., 2007.
69. Эфрос Абрам // Выставка картин К.Ф. Юона. М., 1926.
70. Юон К.Ф. Автобиография. М., 1926.
71. Юон К.Ф. Москва в моем творчестве. М., 1958.

Оглавление

Предисловие	3
На богомолье к Троице	5
Архитектурный облик лавры	13
Святые окрестности Троице-Сергиевой лавры	30
Игрушки Сергиевского края	46
Первые годы после революции	52
Годы НЭПа	75
Годы «Великого перелома»	83
Тридцатые годы	107
Перед войной («Мометальная фотография»)	122
Усадьбы	124
Абрамцево	124
Ахтырка	154
Успенское	170
О природе края	178
Художники в Сергиевом Посаде	189
Константин Юон и Владимир Соколов	189
Два портрета (Борис Кустодиев)	200
«...в плену загорских очарований» (Александр Осмеркин)	203
Приложение. Детство в Сергиевом Посаде	206
Основная литература	217

ИЗ ПРОШЛОГО СЕРГИЕВСКОЙ ЗЕМЛИ

Татьяна Васильевна Смирнова

Технический редактор Б.М. Воронов
Компьютерный дизайн и вёрстка П.Н. Долгополов

На первой странице обложки:
Константин Юон. «Купола и ласточки». 1921 г.
На последней странице обложки:
В. Клыков. «Памятный знак Сергию Радонежскому»

Подписано в печать 12.01.2011
формат 60x84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «NewBaskerville». Печать офсетная.
Объём 14.88 пл. Тираж 1000 экз. Заказ 2/11

Отпечатано: ОАО «Московская типография №2»
129085, г. Москва, пр-т Мира, 105. Тел/. (495) 640-540-1